

*Альманах*

*of 15 ja*

# *Уважаемые читатели, взрослые и маленькие!*

*Прошлым летом побывал я в Донецке и поставил целью познакомиться с его культурной и особенно литературной жизнью. Она в городе и его окрестностях была ключом: что ни день – мероприятие, а то и два! На все просто физически не успевал...*

*Посетил: музей Немировича-Данченко в селе Нескучное (его замечательный директор А. С. Бугаёв – отдельная тема); три поэтических вечера, организованных в городских кафе молодым талантливым поэтом Анной Ревякиной; два заседания «Кораблёвника» (Театр Вольного филологического общества при университете – детище профессора Александра Кораблёва); творческий вечер поэта Владимира Калиниченко в библиотеке имени Крупской; посиделки у литераторов Елены Морозовой, Людмилы Буратынской, Григория Брайнина и т.д. и т.п. В некоторых культурмероприятиях принял непосредственное или опосредованное участие, из которых позволю упомянуть две презентации «Семейки» и выступление в Театре Вольного филологического общества с лекцией о поэтах и прозаиках моей молодости: «Донлитра моими четырьмя глазами в цитатах и отступлениях». Жизнь была ключом, и ничего тогда не предвещало беды, а сейчас, когда пишу эти строки, в Киеве на Майдане, да и во всей Украине бьют другие ключи и разыгрывается трагедия отнюдь не литературного свойства. Спаси нас всех и помилуй, Боже...*

*Бурная литературная жизнь в Донецке, естественно, нашла отражение в этом выпуске «Семейки»: в ней замечены донецкие авторы, макеевское литобъединение приглашено на виртуальную чашечку кофе в «Литкафе». Не обошлось в номере и без «семейственности» – публикация рассказов отца и сына Агеевых и талантливых рисунков Саши Семчука, сына нашего автора Владимира Семчука. В альманахе вернулась фантастика, в разделе «Они сошлись» опубликована повесть Джона Маверика «Аплодисменты для кукольника».*

*Как всегда, в этом номере представлены авторы со всех концов планеты, а именно: Германии, Израиля, Австралии, Латвии, России, Украины.*

*С уважением и наилучшими пожеланиями,*

*Составитель*

*Стухи*



*и проза*

# Василий СОЛСТОУС

Макеевка

*Родился 24 июня 1954 года в Свердловске Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Член Межрегионального союза писателей Украины. Член Конгресса литераторов Украины. Печатается с 1976 года в периодике Украины, России и Германии, в альманахах и коллективных сборниках, в поэтической антологии «Украина. Русская поэзия. XX век» (Киев: «Юг», 2007). Автор-составитель поэтической антологии «Песни Южной Руси. Стихи русских поэтов Украины. 1980-2000-е гг.» (Донецк, 2008). Дипломант и победитель украинских поэтических фестивалей «Коктебельская весна», «Трамвайчик», «Алые паруса». Лауреат Донецкой областной литературной премии имени Виктора Шутова (2009) и международных литературных премий имени Михаила Матусовского (2007) и имени Владимира Даля (2010). Автор десяти книг стихов, том числе «Крещение именами» (Донецк, 2014).*

\* \* \*

в пять утра без будильника солнце  
прорвалось из-за дальних холмов  
рыжий кочет на крыше колодца  
прокричал что он жив и здоров  
рощу ветер погладил по кронам  
свистнул сыч в ожидании сна  
и страну покрывалом зелёным  
застелила к восходу весна  
у ворот самодельную флейту  
в руки взял деревенский пастух  
под мелодию близкое лето  
тополёвый приветствовал пух  
он вздымался кружился вертелся  
и носился легко по дворам  
а совсем не имеющий веса  
плыл пастух и на флейте играл

## Майский дождь

В природе хлябь. Циклона струи  
дождём стучат о стёкла окон.  
Мы, бесшабашные, рискуем  
быть унесёнными потоком.  
Огромный город спит, сутулясь,  
обрезав крышами стихию.  
Обняв друг друга в дебрях улиц,  
горланам песни и стихи им.  
И, замолчав, смыкаем губы  
весёлым долгим поцелуем.  
Растреплет ветер, приголубит –  
его восторг ненаказуем.  
Пустая улица. Трамваи  
стоят и мокнут, безголосы.  
Идём и город открываем:  
любимы, молоды и босы.

\* \* \*

В селе под вечер дочка заболела:  
«Мне, папа, жарко. Душно, и тоска  
сидит во мне». Лицо белее мела,  
и пышет жаром слабая рука.  
А во дворе рекою самогонка:  
племянник тихий в армию идёт.  
Прости-прощай, родимая сторонка.  
Привет, Афган, страны громоотвод!  
Пугающие запахи лекарства  
и колдовство непьющего врача  
важнее грубой силы государства.  
Для жизни щит надёжнее меча.  
«Ну что, Оксана?» – «Лучше, слава Богу».  
А Костя-врач смеётся: «Будет жить».

Сереет утро. В дальнюю дорогу  
племянник мой не хочет уходить.  
Сигнал машины. «Сын, служи достойно!» –  
рванулся батя. Кто-то пел и смолк.  
Спросила дочь: «Зачем на свете войны?»  
И я ответить дочери не смог.

\* \* \*

«...Не двигайся и руку опусти.  
Закрой глаза. Сейчас задёрну шторы.  
Я записала твой последний стих.  
Нет, не последний. Что ты, я не спорю...  
Не поднимайся. Так сильнее боль.  
Лежи. Дай, лоб попробую. Горячий.  
Не уйду. Я рядом, здесь. С тобой.  
Как жарко. Пот. Смахнула. Нет, не плачу.  
Ну что ты?»

– «Ближе. Ближе. Умереть  
легко. Глаза закрою и – в дорогу.  
Того, кем был, осталась четверть. Треть, –  
ещё глаза. Язык. Совсем немного.  
Ты слышишь? Тише. Бабочка у ног.  
Нет, на руке. Опять летит. Садится.  
Ну отгони. Я сам, когда бы мог.  
У бабочек приветливые лица.  
Вот и у этой. Что же ты кричишь?  
Не слышу я. Движения инертны.  
Трепещут крылья пламени свечи.  
Все бабочки, наверное, бессмертны».

\* \* \*

Включи телевизор, где крутится фильм,  
где новости сонной планеты.  
Глаза чуть прикрой, и твой автомобиль  
рванётся буянить по свету.

В пути обнаружишь пустыни размах  
и грома густые раскаты.  
Бывать наяву в австралийских холмах  
придётся едва ли когда-то...  
В загадочной Азии явится смысл  
вещей, недоступных Европе:  
что, употребляя сакэ и кумыс,  
Россию никто бы не пропил...  
Легка, словно сон, заэкранная жизнь.  
Дрожит и смыкается веко,  
впуская вселенной безлюдную высь  
и бездну – сестру человека...

\* \* \*

Стреножит холод. Время распылится.  
Внезапно, без намёка, без причин –  
поселятся морщины в руки, лица,  
переставляя метки годовщин.  
Простое вдруг окажется сложнее.  
Всё неприступней лестничный пролёт.  
В один из дней осенняя аллея  
к себе неудержимо позовёт.  
И ты пойдёшь. Слетят и лягут листья  
на землю, замирая у плечей.  
Вперёд, вперёд – и не остановиться,  
как будто бы летишь один, ничей,  
под крики улетающего клина  
и взмахи провожающих вершин  
деревьев без листвы, наполовину  
свершивших обнажение души.  
Белёдые туманы будут реять  
и влагой проливаться на поля,  
на стебли придорожного пырея,  
на озеро, что плещется дремля.

А сверху – нависающие звёзды,  
бесцельно и как будто без труда  
из космоса подсвечивая воздух,  
откроют путь. Неведомо куда.

## Таинство полёта

Спят, нанизаны на вертел,  
с лёгкой корочкой загара,  
не заметившие смерти  
обнимающего жара...  
Костенеющие крылья  
уложив крестообразно,  
все секреты не раскрыли,  
не обмолвились ни разу.  
Может, просто не успели  
выдать таинство полёта  
две взлетающие цели  
с материнского болота.

\* \* \*

Предельные значения  
весомых величин  
подвластны изменениям  
без видимых причин.  
Когда одна качается  
сердечная вина,  
и целый мир кончается,  
как вялая страна,  
стыда потоки мутные  
когда несутся в ад, –  
тогда предельно трудно им  
попятиться назад.

\* \* \*

Подчас удачу удаль застит,  
что рвётся в люди без стыда.  
Кураж приклеиваться к власти  
не иссякает никогда.  
Но музыканты и поэты  
одни, быть может, рождены,  
чтоб было жить на белом свете  
не стыдно жителям страны.

\* \* \*

Я обманул вас: смерти нет.  
Причины нет грустить и плакать.  
Там, за орбитами планет,  
я уверяю – лучший свет.  
Не разводите носом слякоть.  
Я снова весел. Пью нектар.  
Размах не выразить словами:  
сегодня сею пыль Стожар,  
назавтра – невесомый пар,  
и вьюсь из чайника над вами.  
...А впрочем, лгу: на стену лезь,  
но сметь не вздумай торопиться:  
ведь я никто, я просто взвесь, –  
так, пустота (попробуй, взвесь!),  
всего изнанка, заграница.

...А так, конечно: смерти нет,  
пока не стёрлась в детях память.  
Укроет прах последний след, –  
и всё живёт. А смерти – нет.  
Поют скворцы. Им что – весна ведь.

## Вениамин АГЕЕВ

### Перт

*Родился в Чимкенте. В Москве получил профессию инженера-машиностроителя. Работал в Чимкенте. Вскоре после путча 1991 года эмигрировал в Австралию. В настоящее время – инженер в крупном промышленном концерне; кроме этого, занимается литературой, пишет русские субтитры для зарубежного кино. В 2011 году в России были изданы его повесть и роман. В 2012 году публиковался в альманахе «Мастерская» (Германия). В 2013 году сборник Вениамина Агеева «Страна незаходящего солнца» был награжден почётным дипломом на международном литературном конкурсе в Берлине в номинации «крупная проза».*

## ПРИНЦЕССА

31 августа 1997 года до моей смерти оставалось ещё больше трёх лет. В тот воскресный вечер мы с тобой махнули целую бутылку коньяка по довольно грустному поводу. Правда, ты не принял всерьёз моих чувств, считая охватившую меня скорбь чересчур «несоразмерной событию» – так ты охарактеризовал моё состояние. Остальные слова утешения были надлежащим образом скупы: обычная для тебя, но производящая странное впечатление на незнакомцев смесь книжного языка с просторечно-бытовыми выражениями, способная заземлить любой высокий патетический порыв. Через несколько лет общения с тобой я постепенно и сам начал изъясняться в подобной манере, не всегда для собственной пользы. Ты меняешь речевые стили, как фокусник, легко предугадывая реакцию участников разговора и выступая попеременно в ролях то профессора Хиггинса, то Элизы Дулиттл, а то и в роли их создателя. Или во взвешенной пропорции смешиваешь всё воедино, создавая сцену для нового «Пигмалиона», где действуют новые герои, прекрасно осведомлённые о тонкостях ролей, сыгранных

прежде. Я так и не научился этому искусству, запоминая лишь сами формулы и пуская их в ход без учёта настроения и сословной принадлежности собеседника. Вольности, допущенные в неподходящей атмосфере, не раз подводили меня, стоив и продвижения по службе, и нескольких неудач на личном фронте, потому что борьба острословия со здравым смыслом часто заканчивалась поражением последнего. С особями женского пола это иногда приобретало комический характер, хотя и далёкий от фольклорных образцов, приписываемых поручику Ржевскому: «Мадам, не имея чести быть представленным, осмелюсь, однако же, обеспокоить вас ненавязчивым вопросом: не интересуетесь ли отдаться?» Несмотря на внешнюю анекдотичность ситуаций, мне частенько было не до смеха.

В тот день я запомнил твою фразу только потому, что она меня задела, ещё не понимая, что намеренно нанесённой мне крохотной обидой ты оттянул на себя разлитую в моей душе большую печаль. И потом, разве я сам никогда не ранил окружающих резкими словами, когда нечто, имеющее для них большую ценность, казалось мне не заслуживающим внимания пустяком? Разница в том, что твои действия обычно более обдуманно. В конце концов, несмотря на маловажность события, ты ведь согласился выпить вместе со мной за упокой, хотя и говорил, что спешишь. Помнишь, как это было? Я вытащил из дальнего угла шкафа едва начатую чуть запылённую бутылку метаксы, и ты, сразу приняв на себя обязанности виночерпия, наполнил золотисто-коричневой жидкостью два гранёных стакана почти до краёв. Эти пятидесятиграммовые стаканы мне посчастливилось купить в ближайшем переулке буквально за гроши, то есть чуть ли не по доллару за штуку. Новые обладатели, едва успев въехать в купленный накануне дом, сбывали на специально устроенной «гаражной распродаже» старый хлам, по какой-то причине оставшийся в сарае от прежних владельцев – то ли сербов, то ли македонцев. На корешках нескольких книг, беспорядочно и одиноко лежащих на импровизированном лотке, в силу полного отсутствия покупательского инте-

реса задвинутом в самую глубину, был виден кирилловский шрифт, не похожий, однако, на русский или болгарский. Хотя для окончательной национальной идентификации мне так и не хватило знаний, я быстро понял, что ошибся. Всё же на какую-то секунду, пока я радовался, что нашёл книги на родном языке, моё тело слегка качнулось в направлении лотка. Я тут же поплатился за легкомысленность, будучи взят в осаду новым хозяином дома, низеньким, толстеньким и громогласным итальянцем с буйной порослью чёрных волос, топорщившихся из выреза рубашки на груди. Моментально почуяв выгоду, он подхватил меня под руку и стал навязывать покупку – пять, три, два доллара за книгу, потом всего лишь пятьдесят центов за экземпляр, а под конец готов был за два доллара распрощаться со всем лотком. Я терпеливо ответил, что без знания языка не смогу извлечь пользы из нашей сделки, поскольку читаю только по-русски и по-английски, чем вызвал новую волну напрасного красноречия, причём итальянец утверждал, что книги самые что ни на есть русские, водя толстым пальцем по обложкам в доказательство правоты. Пришлось входить в дальнейшие детали. Мой брат, некоторое время служивший преподавателем университета, не уставал повторять, насколько ему мила просветительская деятельность – собственно, потому, что это прекрасная возможность давать понять своим ближним, какие они непроходимые тупицы и идиоты. Должен признаться, что я тоже получил удовольствие, объясняя разницу между славянскими языками и видя промелькнувшее в оливковых глазах моего коммерсанта замешательство. Но не надолго. В следующую секунду он уже предлагал мне зарядное устройство для фотоаппарата, ручную дрель без патрона, цветочные горшки – и при этом не забывал цепко держать меня за локоть. Во мне начало закипать раздражение, но за миг до того, как я неучтиво вырвал свой рукав из захвата, он указал мне на горку посуды. Среди скучных изделий местных и китайских производителей красовались они – пять замечательных гранёных стаканов как раз той разновидности, что во время моего детства была попу-

лярна среди торговцев семечками. Уже имея опыт общения с новым соседом, я лениво подошёл к горке и начал перебирать всякую всячину, пока не услышал нужное предложение. Дальше всё проходило по знакомой схеме: двадцать, десять, восемь и, наконец, пять долларов, которые я ему и вручил, со скрытым торжеством унося с собой трубу из вставленных один в другой гранёных шедевров, у одного из которых, правда, был слегка надбит край, так что его нельзя было на сто процентов считать кондиционным товаром. Выдували такие замечательные стаканы в Сербии с Македонией, или же их происхождение было всё-таки советским, неизвестно, но тебе очень нравился звук, который они производили в процессе чоканья – глухой, тяжёлый, как при столкновении булыжников. Ты называл этот звук пролетарским. Да и размер у них был подходящий.

Мы с тобой приготовились сделать первый глоток, когда раздался стук в дверь. Из-за характерного ритма я не сомневался, что за посетитель стоит у меня на пороге, и как в воду глядел. Впрочем, кто ещё мог стоять за дверью в этот час? Нюта взяла твой неостывший след с ходу, не хуже заправской гончей, несмотря на то, что ты нарочно припарковал машину не на въездной дорожке дома, а подальше от входа, напротив парка. Учитывая то, что со времени твоего прихода прошло не больше пятнадцати минут, а Нюта прибыла в полной боевой раскраске, и даже не запыхавшись, она показала поистине неженский результат по оперативности сборов – хотя раскраска, конечно, могла остаться у неё от предыдущего выхода. От тебя я часто слышал, что Нюта по праву заслуживала титул главного несчастья в жизни мужчины, которого угораздило стать объектом её влюблённости. Впрочем, твоя мучительная привязанность к этой, как ты, смеяшь, не раз говорил, адской помеси Мальвины и Татьяны Лариной доказывала, что ты и сам намертво увяз в трясине безрадостной любви.

– Привет, – сказала Нюта.

Я молча кивнул, делая приглашающий жест в сторону гостиной, а ты не спеша наполнил ещё один стакан и протянул

гостье. Та в ответ проделала целую серию противоречивых движений: сначала отрицательно помахала рукой, затем взяла стакан и подержала на уровне груди, затем решительно протянула его навстречу – всё это тоже молча.

– Не чокаясь, – сказал ты и тут же выдул свои пятьдесят граммов.

Если бы мой сослуживец Дени Батист присутствовал при этом кощунстве, то пришёл бы в ужас – как же, хорошее спиртное следует смаковать. И уж ни в коем случае не закусывать лимоном. Но у русских варваров свои привычки. Ни я, ни Нюта не заставили себя ждать, и ты снова наполнил стаканы.

– Вот уж не думала, – заявила Нюта, – что вы такие чувствительные.

– Почему? – не понял я.

– Ну вот тебе-то что от жизни или смерти какой-то дуры? Нет, я понимаю – австралы относятся к этому по-другому, у них всенародный траур домохозяек. Я сейчас из магазина, – продолжила Нюта, подтверждая мою догадку относительно макияжа, – так кое-кто из посетительниц ходит с постными рожками, некоторые даже промокают глаза бумажными салфетками, за неимением носовых платков.

Я никогда не разделял таких вот попыток унижения чужаков, от кого бы они ни исходили, тем более что мне самому частенько приходилось быть воспитываемой стороной – особенно вначале, покуда я ещё питал иллюзии о способностях австралийцев к признанию чужеродных традиций. Это уж потом, когда тщетность установить какое бы то ни было подобие взаимности стала очевидной, я научился огрызаться, и меня перестали школить некоторые из коллег. А раньше подобные эпизоды нередко возникали по самым ничтожным поводам, а то и без повода, чисто вследствие глупости моих «наставников». Вроде того случая, когда сослуживица сделала мне замечание во время обеда, что я неправильно держу столовые приборы – якобы, накладывая на вилку пищу с помощью ножа, её нужно держать горбиком вверх, а зубцами вниз. Это

было до того нелепо, что я не сразу понял, в чём заключалась моя оплошность, а уразумев, не удержался от вопроса, почему так, а не иначе, ведь это неудобно. «Зато, – с выражением бесконечного терпения на лице ответствовала она, – люди не подумают, что вы плохо воспитаны!» Теперешнее замечание о носовых платках, вне всякого сомнения, относились к той же сфере. Для здравомыслящего человека, каким Нюта, без сомнения, являлась, гигиенические преимущества салфеток должны были быть очевидны, но в качестве как бы представителя более высокой культуры она не могла отказать себе в удовольствии продемонстрировать презрение к туземцам. На секунду я за них обиделся, правда, мой собственный сложившийся за несколько лет условный стереотип среднего австралийца тоже не отличался рафинированностью манер. Я не стал спорить с Нютой и загадывать ей тут же пришедшую на ум загадку о вещах, которые «бедный наземь кидает, а богатый с собой собирает», потому что не уловил главного.

– Ты о чём?

– Да как же! – с готовностью пояснила Нюта. – И по радио в машине, и по телику дома – только и разговоров, что их любимая принцесса Диана сегодня погибла в автокатастрофе.

– А мы и не знали, – ответил я Нюте.

– Ну да? – не поверила она, подозрительно глянув на меня прищуренными глазами. – А почему тогда за упокой?

– Потому что у Сашки сегодня кот окошел, – сказал ты таким тоном, в котором для Нюты содержалось указание закрыть рот на замок.

– Это который? Рыжий, облезлый такой? Так это же не твой кот? А, ну раз кот, тогда ладно, а то я уже невесть что подумала.

Будучи соседкой, Нюта, конечно же, считала необходимым быть в курсе, какие ко мне приходят коты и женщины. Теперь следовало ждать традиционной увертюры ваших свиданий, то есть более или менее агрессивных препирательств, и они не замедлили начаться. А я молча вспомнил о том, как он в первый раз пришёл ко мне. Тогда вы с Нютой ещё не были

знакомы, хотя вас отделяло от встречи всего лишь несколько часов. Кстати, это для тебя я купил свежей камбалы, потому, что ты обещал прийти ко мне на ужин. Сначала-то я собирался поджарить свиные рёбрышки на решётке, но когда ходил за газетой, случайно заметил камбалу в витрине рыбного магазина и, зная, что ты её любишь, не смог пройти мимо. И Ньюту я в тот вечер тоже пригласил специально для тебя, потому что мне казалось, что ты одинок и скучаешь, а она не раз намекала мне, что готова к новому чувству, поскольку её отношения с австралийским мужем зашли в неразрешимый тупик. В то время мне казалось, что я совершаю правильный поступок, но потом усомнился, стоило ли это делать. Не потому, что я вдруг стал моралистом – просто мне начало казаться, что ваша связь не сделала ни одного из вас счастливее.

Мне не повезло: рыбу только что привезли в магазин, и пришлось брать её, как есть, – в чешуе и невыпотрошенной, иначе пришлось бы слишком долго ждать, а я спешил по делам. Этой случайности я и Плюшевый Тигар как раз и были обязаны нашему знакомству. Если ты помнишь, месяца за два до того ко мне въехала Наташа. Кстати, я должен отдать должное твоему знанию людей: небрежные и почти случайные фразы о моих подругах всегда отличались безукоризненной верностью долгосрочных прогнозов. Наташа не была исключением, и постепенно я был вынужден с этим согласиться, но твоё снисходительное замечание о первом впечатлении встретил с чувством недоверчивого негодования. Прежде всего, дело было, конечно, в моей влюблённости, но не только. По сути, сказанное сводилось к тому, что роль невесты и, тем более, жены ей мало подходит, хотя ты не возражал бы иметь её в качестве любовницы, и это пришлось мне не по вкусу. Я достаточно резко ответил, что прежде чем примерять Наташу к разным ролям, нужно ещё заслужить её расположение, и посоветовал тебе заткнуться, раз уж ты не можешь сказать ничего хорошего. Ты так и сделал, молча пожав плечами и на самом деле не проронив больше ни слова. Наверное, несмотря на свой не слишком

юный возраст, я всё ещё не повзрослел, только этим я могу объяснить, что твои слова показались мне дикостью: я-то ведь считал, что раз у нас с Наташей сложились прекрасные отношения, то её переезд ко мне ничего уже не может отнять или прибавить. Нечего и говорить, ты оказался более чем прав, и эта твоя правота отравила мне несколько несбывшихся надежд уже после Наташи, как раз потому, что, заразившись твоим методом, я взял за привычку препарировать избранниц в разных аспектах. Обнаружилось странное явление: никто из них не реализовывался как универсально приемлемая партия, у каждой находился серьёзный изъян. Настя оказалась страшной грязнулей, то есть продемонстрировала именно хозяйственную некомпетентность невероятного масштаба. Пришедшая ей на смену Оксана обнаружила такую, на уровне рептилии, душевную чёрствость, что я вспоминал о прошлом с Настей и Наташей, как о каком-то Золотом Веке. Если помнишь, в первые год-два после развода я, с каким-то лихорадочным отчаянием тяготясь своим одиночеством, искал из него выход. Этим, в частности, объяснялась моя неразборчивость. Уход жены вдруг обернулся поражением в статусе. Я неожиданно ощутил себя никому не нужным, а ведь пока я состоял в браке, две женщины, очень разные, но одинаково прекрасные, активно пытались увести меня из семьи. Скорее всего, что и это тоже было иллюзией. Наверное, при ближайшем рассмотрении каждая из них тоже оказались бы с дефектом, но я всего лишь имею в виду тот факт, что напор мистически ослаб, как только выяснилось, что мой развод произошёл по инициативе жены, – она как бы заставила их усомниться в правильности выбора. Одна из претенденток почти сразу же выскочила замуж за многолетнего поклонника, которого раньше признавала лишь в качестве «запасного аэродрома». Вторая начала практиковать в обращении со мной демонстративное отчуждение, и лишь позже я догадался о мотивах. Пока я не был свободен, ей удавалось контролировать свои претензии, но то, что я не примчался к ней с предложением руки и сердца

на второй день после развода, ощущалось как оскорбление, правда, она вряд ли захотела бы в этом признаться. Несколько позднее, с ехидной иронией наблюдая за развитием твоего романа с Нютой, я мстительно поинтересовался, насколько она подходит на роль любовницы и жены, а ты с обескураживающе весёлой улыбкой ответил, что ни на сколько. Мне и в самом деле было непонятно, отчего ты с ней, если ни одна ваша встреча не проходит без ссоры. Поймав мой недоумённый взгляд, ты удостоил меня кратким объяснением в своём обычном стиле, небрежно обронив несколько лаконичных фраз: во-первых, Нюта не предаст, если что, а во-вторых, и в самых главных, с ней не соскучишься. Что означает «не предаст», я не стал выяснять, но, судя по тому, как долго вы оставались вместе, вам и в самом деле не было скучно.

Мне пришлось забраться со своей камбалой в угол заднего двора, не рискнув случайно оставить засохшие чешуйки где-нибудь на тщательно отполированной специальным составом нержавеющей поверхности холодильника, потому что Наташа, в противоположность Насте, выступала маниакальной приверженицей абсолютного порядка. Увлечённо орудуя ножом, я как-то не сразу уловил, что произошло, скорее всего, просто отметил небольшое движение на дальней периферии бокового зрения. Но когда поднял глаза, кот уже сидел напротив меня, наполовину скрытый полусухими стеблями разросшихся сорняков – карающая длань Наташи ещё не успела проникнуть в этот заповедный уголок сада. Минуты две мы смотрели друг на друга. Он не убежал, но и не пытался сделать никакого движения вперёд. На вид это был крупный экземпляр средних лет, вряд ли домашний – что-то в его облике выдавало бродягу. У него была необычная окраска, из-за которой ты сразу придумал для него смешное прозвище – Тигар. Ещё одной особенностью был хвост – более длинный, чем обычно, и сломанный на конце. Возможно, что-то случилось когда-нибудь давно, в его бытность домашним котом, например, хвост мог быть сломан входной дверью, хлопнувшей под напором

ветра. Так мы продолжали какое-то время – я потрошил рыбу, а он без малейшего движения сидел, опираясь на мощные передние лапы. Не знаю, что движет нашими симпатиями и антипатиями, и как можно прочесть язык жестов в неподвижном животном – но через четверть часа, когда работа была закончена, я знал, что, помимо голода, который, вероятно, заставил его прийти на запах, он уже испытывал ко мне некоторое доверие. Мы были точь-в-точь, как два незнакомца из мира людей, которые, не имея опыта общения, заранее готовы предоставить друг другу кредит – только потому, что загадочный внутренний голос говорит, что между ними пролегла какая-то невидимая нить. Поначалу я собирался отдать ему одни потроха, но в конце концов отхватил ножом и добавил к ним ещё и изрядные куски от хвостов. В общем-то, несмотря на сухость тела, кота нельзя было назвать истощённым. Скорее всего, он был вполне способен самостоятельно добывать себе пропитание, ему, видимо, просто хотелось разнообразить свой рацион. Он выглядел худым, но не болезненной худобой, а той, что идёт от здорового образа жизни без излишеств. К тому же это был представитель короткошёрстной породы, оттого весь рельеф мускулистого тела выпирал наружу, как на фотографии из журнала для культуристов. Когда много позже я в первый раз решился его погладить – мне не хотелось испугать Тигара преждевременной фамильярностью – меня удивила плюшевая мягкость его шерсти, потому что на вид она представлялась жёсткой остью, почти без подшёрстка. Кстати говоря, он не стал убегать от поглаживаний, правда, первое время слегка выгибался, отодвигаясь, когда моя ласка становилась чересчур настойчивой. С той поры он часто приходил ко мне. Наташа моментально возненавидела его в качестве переносчика глистов и инфекционных болезней. Кажется, кот платил ей той же монетой, во всяком случае, он ни разу не подошёл к ней, даже когда Наташа, под влиянием минутной слабости, решала поменять гнев на милость и угостить его какими-нибудь объедками со стола. Настю же он подпускал довольно близко,

хотя и не позволял себя гладить. Во всяком случае, он не заискивал ни перед той, ни перед другой и пережил в моём доме их обеих. Из всех появлявшихся у меня людей он только к тебе испытывал доверие, в чём я вижу если не мудрость, то проявление шестого чувства. Он знал, что твоё отношение ко мне свободно от корысти и что между нами тоже существует невидимая связь – иначе чем объяснить, что из всех людей, которых мне приходилось когда-либо знать, я только тебя вижу из того места, где нахожусь теперь. Иногда я задумывался о том, откуда Тигар появился у меня во дворе. Скорее всего, он жил у каких-нибудь стареньких бабушки или дедушки в нашей округе, а после их смерти остался на улице. Не знаю, были ли у него впоследствии какие-то отношения с другими людьми, кроме меня. Мне кажется, что нет, потому что постепенно он как-то всё больше прибывался к моему дому, хотя ни разу, несмотря на неоднократные приглашения, так и не вошёл внутрь. Но его часто можно было видеть бродящим вокруг или сидящим на развилке ствола старой казуарины напротив окна моей спальни. Видимо, поэтому кто-то из соседей, найдя окоченевший труп кота в своём саду или перед входной дверью, положил его на мой мусорный бак в день смерти принцессы Дианы, когда ты, захав лишь на минутку и не желая встречаться с Ньютой, всё-таки остался у меня, чтобы справить по нему тризну.

Ты, может быть, хочешь знать, есть ли у меня здесь этот кот? Встретились ли мы с ним, вернее, воссоединился ли я с ним – ведь он умер раньше. Так вот. Здесь нет кота. Здесь вообще ничего нет. Иногда, очень редко, я вижу тебя. Не то что туманно, но только узкой полоской. Как через смотровую щель водителя танка. Помнишь, когда-то мы залезали в музейный танк? Вот в точности так. Как из танка.

Мне бы хотелось, чтобы здесь кто-нибудь был. Пусть даже наполовину состоящий из недостатков, как Наташа, Настя или кто-нибудь ещё. Или хотя бы, как Оксана, хотя я не помню своего мнения и по-прежнему считаю её редкой дрянью. А лучше всего, если бы здесь был кто-то нескучный для меня,

такой, как для тебя была твоя Анюта, пускай бы мы даже ругались с утра до ночи. Кажется, я даже мёртвой принцессе был бы рад на крайний случай, но её здесь тоже нет.

Как ты там, на свету? Любишь ли ты ещё камбалу? Любишь ли ты ещё свою Нюту?



*Виктор Харик. Фрагмент панно в детской художественной школе. Магдебург, 1998.*

Сергей СТРАНОВСКИЙ  
Вуипперталь

\* \* \*

Здесь низкое небо.  
Здесь звёзды прозрачны,  
И Ловать<sup>1</sup> бесшумна,  
Как тень у порога.  
Мне б соли и хлеба.  
Мне больше не надо,  
А всё остальное  
Подарит дорога.

На Шотово<sup>2</sup> путь...  
Он пустынен, как ночи,  
Что стадом бездомным  
Летят над землёю.  
Мне б хлеба и соли  
И шёпот рассвета,  
А всё остальное  
Пройдёт стороною.

Вот лето уходит  
И медленно август,  
Дразня и играя,  
Бредёт по дорогам.  
И век двадцать первый  
Гудит над планетой.  
И всё возвратится  
Когда-то к истокам.

---

<sup>1</sup> Ловать – река в Новгородской области.

<sup>2</sup> Шотово – деревня в Новгородской области, через которую протекает Ловать.

\* \* \*

Когда над Ловатью зажжётся звёзд фонарик  
И вздохи сонных рыб наполнят тишину,  
Взлетит тогда наверх цветной воздушный шарик,  
Прочерчивая след в ночную вышину.

В том шарике любовь, что так и не случилась.  
А просто пронеслась кибиткой кочевой.  
Мне музыка в ту ночь как будто бы приснилась,  
И было соло в ней. Солировал гобой.

Солировал он так, как плачут горько дети.  
Как плещется в ручьях игривая форель.  
Мне музыка вила, раскидывала сети.  
И билась в них душа, попавшая на мель.

А Ловать всё текла и музыка играла.  
И в воздухе блистал июньский звездопад.  
Но близилось уже адажио финала,  
И всё опять прошло, как много лет назад.

## Ночной Ла-Манш

Сверканье ночных маяков,  
Ночного парома усталость,  
Сиянье чужих берегов,  
С чужого мне пира достались

Мелодии Моцарта всхлип,  
Повисший над пеной морскойю,  
И скрипок тончайший изгиб,  
И ночь вперемешку с судьбою.

\*\*\*

Воспоминаний вязь  
В шуме приморских ветров,  
В рваных берегов очертаньях,  
Пляжа, и чаек, и неба,  
На горизонте падающего в море,  
И бездомной собаки у кромки воды  
С глазами цвета тумана...

\*\*\*

Не поётся и не пишется.  
Жизнь, как водится, права.  
И далёкие мне слышатся  
Позапрошлые слова.

Юность – лёгкое дыхание,  
Старости угрюм наряд.  
Обещанья, обещания  
Сорок лет тому назад.

\*\*\*

*Между печалью и ничем  
Мы выбрали печаль.*

*Б. Чичибабин*

Выбираю печаль, выбираю.  
Только так я могу, только так.  
Лишь ночами зарницы сверкают.  
Лишь во мраке возможен не мрак.

Лишь во мраке раз в тысячу вёсен  
Сквозь тщету неприкаянных лет,  
Заблудившись в трёх соснах, средь сосен  
Засияет вдруг вечности свет.

## Таруса

Мне неизвестна формула пространства,  
Но явен знак в тарусском косогоре,  
Марины знак. Осеннего убранства  
Печален лик и неизбывно горе,

Разлитое над тихую рекою.  
«Я вас люблю», звенящее со сцены,  
Ползущее неровною строкою  
И перенасыщающее вены.

\* \* \*

Дом об одном окне,  
Может, приснился мне  
Или случился просто,  
Как в крапиве погоста  
Крест небольшого роста,  
Память тебе и мне.  
Дом об одном окне...

\* \* \*

Сколько глазом ни кинь – снег,  
Вифлеемской звезды свет.  
Вот двадцатый ушёл век,  
Запорошен его след.

Его гул над землёй стих,  
Словно не было ста лет.  
Его кладбищ покой тих,  
Те далече – иных нет.

Разодрав шар земной в кровь,  
Двадцать первый пришёл вслед.  
И горит над землёй вновь  
Вифлеемской звезды свет.

## Виктор АГЕЕВ

### Перт

*Родился в 1924 году в Алтайском крае. В 1932 году семья переехала в Чимкент. После окончания средней школы был призван на фронт. Войну закончил в Германии, участник взятия Кёнигсберга. После демобилизации получил образование педагога. Вся трудовая деятельность В. И. Агеева прошла в системе образования. Отмечен рядом правительственных наград СССР и России за боевые и трудовые заслуги. С 1996 года живёт в Австралии.*

## ТРАНЗИТ

**В**от вы говорите, «окопная правда», а мне, если хотите знать, вообще претит такое выражение. С одной стороны, как будто ничего не значащее определение, а с другой – эта фраза вроде как претендует на некое новое откровение. Дескать, вот она, истина, которую вы так долго искали. А по сути всё не так. Или можно сказать наоборот: всё так же, как и раньше. Только раньше было приукрашивание, потом сплошь чернуха, а теперь идёт мифологизация общественного сознания, которая мне, быть может, даже отвратительнее, чем предыдущие фазы. Почему? Да потому что в нынешнем, например, кинематографе исторические события показываются не то что тенденциозно – нет, много хуже! Возникает впечатление, что создателям вообще всё равно, как и что происходило на самом деле. И это меня пугает. Вы, как я понял, полагаете, что раньше люди жили в полном неведении, но я с этим не согласен. Спору нет, в деле лакировки окружающей действительности сталинская пропаганда работала хоть и топорно, но усердно и, в целом, более успешно. Положительные моменты раздувались; какие-то факты, сами по себе нейтральные или даже отрицательные, подавались в более привлекательном виде. Негативные явления, наоборот, замалчивались – даже в тех

случаях, когда были общеизвестными, как, например, перебои с хлебом. Ну и так далее. Если к чему-то был причастен только узкий круг людей, то в том же кругу всё, по преимуществу, и оставалось. Это я об относительно безобидных разговорах и слухах сейчас говорю – о тех, что не предполагали за собой злого умысла. А не то что о каких-то засекреченных сведениях, которые прямо противоречили официальному курсу. За такое можно было большие неприятности нажать. Считалось, антисоветская агитация. Тупые, говорите? Ну, может, и не особо умные, а всё же поумнее тех, что потом на смену к ним пришли. А что Чернобыль? Вот с тем же Чернобылем – какой смысл был в отрицании? Свинство-то свинство, пролетарская власть всегда отличалась повышенным свинством, но – какой смысл? Замолчать такую катастрофу нет ни малейшего шанса, через несколько дней пришлось признавать – дескать, да, имела место утечка радиации. Впрочем, к тому времени об этом и так всем было известно. Но людей уже погубили! Зачем, спрашивается? А просто так. Взрыв произошёл как раз накануне первого мая, так власти праздничные демонстрации устраивали, красивые речи говорили, вместо того чтобы объявить чрезвычайное положение и разъяснить людям, что нужно дома сидеть с законопаченными окнами и дверями или эвакуироваться по мере возможности. Я вот читал, какого-то секретаря райкома обязали с маленьким ребёнком по городу ходить, в парке гулять, на каруселях кататься. Чтоб, значит, все видели, что опасности нет – раз даже слуги народа не боятся оставлять родных детей в зоне бедствия, вместо того чтобы отправить первым же поездом к бабушке на Дальний Восток. Сомневаетесь, что раньше было бы иначе? Напрасно. Там же была совсем другая логика. «Враги проникли в святая святых военного объекта» – это же атомная электростанция, значит, военный объект! «В результате саботажа произошёл взрыв, преступники и их пособники задержаны и дают показания, соблюдайте меры предосторожности, в первую очередь эвакуируются дети, теснее сплотим ряды».

Всё! Как раз совсем простой случай с точки зрения пропаганды. Ну да, и рты затыкали довольно рьяно, чтобы не было нежелательных слухов, хотя эта задача уже намного сложнее. Конечно, случались и такие ситуации, когда человек слово лишнее боялся сказать. Но то, что на каждой дружеской вечеринке был, якобы, свой стукач – это, конечно, преувеличение. Опять же и от места зависит, в нашей области издавна много ссыльных живёт, значит, и инакомыслия больше. Так что есть разница – у нас или, скажем, в Москве. Там, скорее всего, сексотов хватало. А у нас и не ссыльные советскую власть не очень-то жаловали. Я вот, например, рос в стольпинском селе. Что, не знаете, что такое стольпинское село? Это нужно вам объяснить, без этого вы не поймёте. Ну, про Столыпина-то вы знаете, правильно? «А, стольпинские галстуки!» – говорите? Так это вам тоже пример эффективности промывки мозгов. Про репрессивные меры проклятого царского режима вы читали, а про крестьянскую реформу – нет. А между тем, переселенцев было больше трёх миллионов, именно с них началось масштабное освоение целинных земель в Сибири, на Алтае, в Туркестанском крае. Но я вам лучше расскажу про то, что сам знаю. Дед мой переселился из Малороссии, их что-то около шестидесяти человек было из одной местности, они и на родине все меж собой были знакомы, хоть и не в одной деревне жили. Ехали не так, чтобы слишком весело, тяжело ведь покидать обжитые места, а на новом месте, кто знает, как ещё будет. Но всё же решились. Тут уж принуждение жизненных обстоятельств сказалось: нужда и малоземелье. Многие и хлеба-то наелись досыта лишь на новом месте. Нет, ну не сразу вот так взяли и поехали, это понятно. Сначала выбрали нескольких толковых мужиков, послали их ходоками, чтобы подыскать подходящие земли и закрепить их за собой. Это тоже всё не просто было. Крестьянин когда свободен? Зимой. А как зимой поймёшь, хорош ли участок? Вот и поехали сразу после страды. Работа ещё есть, но поменьше. Те, кто на месте оставался, помогал семьям ходоков. Наконец всё решилось, бумаги под-

писали и уже семьями отправились – с плачем, со стонами, со страхом. Но и с надеждой. Это уж на следующий год произошло, ранней весной, чтобы, значит, успеть на новом месте до зимы закрепиться. Ну и от государства была существенная помощь. Какая, спрашиваете? Во-первых, все переселенцы имели право на льготный проезд по железной дороге, только четверть стоимости билета оплачивали. Кроме этого каждой семье давали ссуду в сто пятьдесят рублей на начальное обустройство. Мало? Это сегодня на сто пятьдесят рублей ничего не купишь, а тогда, дед рассказывал, лошадь стоила пятьдесят рублей, корова – пятнадцать, пропашной инвентарь можно было за десять рублей купить. Вот тебе уже и вся движимость первой необходимости. Ну, с недвижимостью, конечно, похуже. Приезжали-то на голую землю, переселенческие наделы – это просто нарезанные участки, пустое пространство – где какое, смотря по местности. Где лесистое, где нет, а в наших краях – степь. Единственное, что переселенческое управление строило заранее, это колодцы. Ну переправы там, может, грунтовые дороги кое-где, по необходимости. А остальное – своим горбом. Но, конечно, огромную роль играла взаимопомощь. И вот что я вам скажу: наше село смешанное, переселенцы там не только из разных губерний были, но и разноязычные. Мои предки, как я уже сказал, из Малороссии, но имелись ещё две примерно равновеликие группы. Одна – из Белоруссии, откуда-то из Гомельской губернии, а другая – из Саратовской губернии. Так вот, селились они по землячеству, компактно – так что даже и в моей юности легко можно было видеть, где начинается одна часть села и где начинается другая – например, крыши крыли по-разному. Но жили дружно, а через два поколения и перероднились многие. И никогда у нас не было того, что сейчас называют межнациональными конфликтами. Наоборот, это наглядный пример, как взаимное влияние способствовало благоденствию. Вот, например, вы сказали, что вам разнообразие местной кухни нравится. А всё поэтому – от каждого берётся самое лучшее, и возникает своеобразный

сплав. И, между прочим, с местным населением, с сартами, тоже не было крупных ссор, хоть там уже не только язык, но и раса другая, и религия. Про мелкие ссоры спрашиваете? Ну а где их не бывает? Где есть соседи, там и мелкие ссоры возникают, главное, до крайностей не доходить. Про разноязычных – это я вот к чему. В первые же месяцы возникло своеобразное разделение ремёсел, например, на строительстве. Белорусы и саратовские растерялись немного поначалу – откуда у них навык саманные избы строить? Ну а леса нет – степь да степь кругом, как говорится. Зато глины сколько хочешь. Да какой! Масло, а не глина. А наши малороссы уже имели кое-какой опыт. Так и образовалось что-то вроде строительных бригад. Возводили стены. У белорусов мастера-печники были, саратовцы – плотники отличные, и даже краснодерёвщик среди них затесался. Расплачиваться постановили на другой год, зерном из будущего урожая. Для малосемейных переселенцев устраивались толоки – это когда ближайшие соседи, а иногда и целое село помогает выполнить какую-нибудь срочную или трудоёмкую работу. Всё делается добровольно и бесплатно, от хозяев требуется только стол обеспечить. И выпивку, говорите? Ну, может, и пили они там что-то, я таких подробностей не знаю. Но пьяниц среди переселенцев не было – пьяницы все дома остались. В общем, худо-бедно, но зиму никто не встретил без крыши над головой. А через три года все хозяйства были, можно сказать, зажиточными, хотя и в разной степени. А чего завидовать? Никто друг другу не мешает – на каждую мужскую душу нарезали по пятнадцать десятин, это только при селе, да ещё огород возле дома. А мало тебе – так степь большая, можешь и дополнительный участок распахать, никто тебе мешать не станет. Опять же, от государства послабление – освобождение от налогов в течение пяти лет и ещё на пять лет – двукратное снижение ставки налогов. Мужчины на три года освобождались от воинской повинности. Да, когда Первая мировая началась, уже всех забирали, они же ещё в девятьсот девятом году переселились. Ну и, вообще, начиная с

первой мировой дела шли всё хуже и хуже. Но всё равно, вплоть до сорок седьмого года село наше летом было таким красивым! Посмотришь – что твой райский сад, так оно утопало в зелени фруктовых деревьев и кустов. Были некоторые орешины, например, что ещё от времён первоначального переселения стояли. Почему до сорок седьмого года? Да потому что Сталин натуральные налоги ввёл. И не только на фрукты, на домашний скот тоже. Что тут сделаешь? Деревья вырубил, скот забил. Наши умельцы, правда, и здесь нашли лазейку – понасажали яблони, груши вдоль арыков за околицей села. С кого налог брать? Вроде как ничейные деревья. Ну, со скотом хуже, тут мысль крестьянских Архимедов дала осечку. Вот, это я вам про наше столыпинское село рассказал. Суть-то в том, что если людей держать в неведении, то любая агитация, даже самая наглая, может иметь успех. А если человек своими глазами видит, до чего советская власть довела – нет, не страну, а хотя бы его собственную деревню, – то у него уже своеобразный иммунитет имеется на официальную пропаганду. Теперь к разговору о сексотах. Один из наших мужиков по имени Спартак в сорок пятом году воевал в Венгрии... Да-да, именно, как героя балета. С войны же, сами знаете, многие не вернулись, вот и отец мой где-то в Эстонии лежит, бедолага, в братской могиле. Уже в семидесятые наша семья меня откомандировала найти место захоронения, но ничего из этого так и не вышло. Примерно мы в курсе, где он погиб, есть там деревня Хелламаа, так вот, где-то в окрестностях. Но точно неизвестно, а списков погребённых нет. Теперь уже никогда и не узнаем, наверно. Между прочим, я и в военное училище пошёл из-за этого. Мама всё плакала в первые месяцы после похоронки, всё причитала: «Солдатик, солдатик!» Не знаю, наверно, у нас в доме своего рода культ отца был, вот я и решил – буду, как отец. Хотя какой он военный – он же по мобилизации ушёл, а так кузнецом работал. Ну не об этом речь, а о том, что отцовские друзья – те, что в живых остались, здорово помогали нам после войны. Хотя у меня с сестрёнкой тоже были

кое-какие обязанности по дому, но это всё мелочи. Кур покормить, грядку прополоть. Мы погодки, она тридцать третьего года рождения, а я – тридцать четвёртого. Совсем дети. Бабка старая. Поесть приготовить она ещё может, а огород вскопать у неё уже сил нет. А одна мать много ли наработает на участке? Да ещё будучи сельской учительницей: днём в школе, вечером тетрадки, зарплата нищенская. Не говоря том, что в деревенском хозяйстве всегда есть много такого, где мужская сила нужна. А мать и сложения далеко не богатырского, ей коня на скаку не остановить, это точно. Собственно друзей у отца было двое: дядя Спартак и ещё один, дядя Никита. Но если какая-то большая или тяжёлая работа, то они иногда и других мужиков с собой приводили. После работы, как водится, застолье, даже если дома – шаром покати. Но мама к этому относилась очень строго, не отпустит, пока не накормит. Кстати, и выпивали они, иногда даже крепко. Но хотя я не помню деталей, мне кажется, что выпивку Спартак приносил. У него виноградник был немалый, да и самогон он гнал, это я точно знаю, он сам рассказывал. Вот этот Спартак, как выпьет, так у него только и разговоров, что о Венгрии. На фронте он служил связистом, несколько раз ему приходилось бывать на постое у тамошних крестьян на хуторах, и однажды увиденное, похоже, не давало ему покоя. Какие у них погребя! Какие вина! Какие висят окорока! Нам до войны рассказывали, что венгерские крестьяне чуть ли не пухнут с голоду под гнётом помещиков, а там вон что. Какой там голод? У них чего только нет, у них и скотину-то никто не поит. «Как не поит?» – удивлялся какой-нибудь новый слушатель. А вот так, объяснял Спартак. У них там автоматические поилки. Корова сама подходит, нажимает носом на рычаг в лохани, и туда течёт вода – ровно столько, сколько нужно. Эти картины даже в стольпинской деревне вызывали у слушателей недоверчивое покачивание головой, но в то же время все понимали, что Спартак не врёт. Такими рассказами он года два развлекал односельчан, даже ввёл кое-какие венгерские новшества в своей винокурне, пока однажды не по-

ехал в город, продавать на рынке зарезанного кабанчика, и там не рассказал товарищам по прилавку свои чудесные истории. Недели через две его вызвали повесткой в областное управление госбезопасности. Спартак приехал оттуда потрясённый, шёпотом сообщив нескольким близким друзьям о том, что ему под подписку запретили рассказывать о Венгрии и взяли ещё одну, дополнительную, подписку о неразглашении содержания проведённой с ним беседы. Случайные знакомые с колхозного рынка оказались бдительными людьми. Впрочем, через месяц-другой случилась свадьба у сына наших соседей, и я сам был свидетелем, как Спартак, найдя благодарных слушателей в лице родственников невесты, приехавших из другого района, снова мечтательно вспоминал об автоматической полке для коров. Почему не боялся, спрашиваете? Не знаю, возможно, был уверен, что никто не донесёт. В принципе, легко мог бы попасть под статью. Но пронесло, не попал, а через некоторое время этот венгерский фонтан как-то сам собой иссяк. Надо сказать, что в первые послевоенные годы фронтовики очень много и достаточно открыто говорили о войне, это же всё ещё очень живо было в памяти. И кое-что говорили вразрез с официальным курсом, так что Спартак в некотором смысле не исключение. Примеры, говорите? Ну вот вам пример. Про маршала Жукова знаете? А какое у него было прозвище в солдатской среде, знаете? Я об этом с двенадцати лет знаю – всё из тех же разговоров отцовских друзей и их товарищей в нашей избе, под самогон и нехитрую домашнюю снедь, после какой-нибудь трудной работы. Так вот, прозвище у него было – «Мясник». Его назначений боялись, как огня. На фронте часто ходили слухи, иногда совершенно беспочвенные, о том, что его перебрасывают на командование, и всё это сопровождалось безрадостными предчувствиями: «Жукова ставят, видать, не придётся вернуться домой». А ведь по радио и в печати, в том числе фронтовой, трубили: «гениальный полководец», «где Жуков, там победа». В общем, кто хотел видеть и слышать – видел и слышал, даже без статистики. Это сейчас

мы знаем, что за бесполезный со стратегической точки зрения штурм Берлина Советский Союз заплатил страшную цену в полмиллиона солдатских жизней. А тогдашние фронтовики этого не знали, но, как ни странно, народная молва вынесла правильный приговор: Жуков – самый жестокий из плеяды советских полководцев, и секрет его военного дарования прост, он заключается в полном пренебрежении к «пушечному мясу». Сегодня, когда мало кто из участников войны остался в живых, гораздо проще заниматься мифотворчеством того периода, несмотря на обилие сведений, которые раньше были засекречены и недоступны. Во что ещё не верили? Да много было такого. Например, всё время разглагольствовали о том, что СССР – миролюбивое государство. Кстати, в те годы не особенно скрывалось, что страна готовится к войне, вернее, внедрялось своеобразное двоемыслие. «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем!» То есть как бы подразумевалось, что мы мирные, потому что пока что не готовы к войне, но война неизбежна, и воевать мы собираемся на чужой территории. Это ещё в тридцатые. И люди об этом хорошо знали, хотя государственная пропаганда твердила другое. Мутное оправдание причин конфликта с Финляндией. Мы у них потребовали уступку приграничной полосы, но агрессоры – всё равно финны. Или, скажем, послевоенное кино. Никто из наших вернувшихся с фронта односельчан не относился к тогдашним фильмам о войне серьёзно, даже если они им нравились. Нет, это вы зря. «Нравились» – это одно, а «правдивые» – это другое. Разные вещи. Песня «На Варшавском вокзале» может нравиться слушателю, но это не значит, что её содержание нужно принимать за хронику реальных событий. Или фильм про кубанских казаков – смотреть приятно, хоть и знаешь, что всё враньё! Так же и тут. Недаром Василь Быков однажды сказал после просмотра нашумевшего пафосного кино: «Я был на какой-то другой войне». Выходили многочисленные фильмы, изображавшие немцев трусами и идиотами, а наши фронтовики, я вам скажу, врага уважали. Да и если ты не уважаешь врага,

если они сплошь трусливые дураки, то в чём тогда наше мужество и героизм? Почему у нас было гораздо больше потерь? Ах, они коварные? Ну так, значит, уже не дураки. А про то, что не трусы, я вам приведу одну любопытную историю. Нет, об этом я не в своём селе узнал, это уже много позже нам с Сашкой, моим однокашником по военному училищу, его отец рассказывал, Виктор Иванович. Он, заметьте, служил командиром взвода тяжёлых миномётов в одиннадцатой гвардейской дивизии одиннадцатой армии третьего Белорусского фронта. Чем знаменита дивизия, спрашиваете? А тем, что одной из первых вошла в Германию в октябре сорок четвёртого года, через границу по речке Шешупе. Правда, успешное поначалу наступление вскоре захлебнулось, встретив яростное сопротивление, а через несколько недель немцы сумели отбить почти всю захваченную территорию. Но небольшой клин в лесу Кумете напротив городка Голдап всё же удалось оставить под контролем наших войск. Но я вам лучше передам всё так, как от Виктора Ивановича слышал и как запомнил. Интересной деталью было то, что именно там находились охотничьи угодья Геринга и его дача. Большой прямоугольный участок леса примерно в пять километров длиной и в два километра шириной был огорожен двухметровой проволочной сеткой. С одной из коротких сторон этого прямоугольника сетка подходила вплотную к озеру Голдап, оттуда был виден обороняемый немцами город. С другой стороны находилась резиденция рейхсминистра, подъездная дорога к ней и контрольно-пропускной пункт, или, как сейчас принято говорить, блокпост. И вот – по ночам, в обстановке полной секретности, туда стали вводить войска. Главным образом пехоту и артиллерийские подразделения, вооружённые миномётами и лёгкими орудиями. Деревья в лесу стояли так густо, что почти нигде не было видно неба. Ну да, и во Вторую мировую полководцы пользовались для маскировки растительностью, не только в шестидесятых, во время вьетнамской кампании. Нет, столько дефолианта произвести у немцев кишка была тонка, да к тому же для

подобных операций полное господство в воздухе требуется, ещё и при условии слабой противовоздушной обороны противника – распылять-то нужно с низкой высоты. Но речь не о том. Словом, нагнали туда бойцов видимо-невидимо. С одной стороны, если судить по фронтовым меркам, – чистая благодать. Никаких боёв, никаких занятий, никаких работ. Ни тебе рытья окопов, ни рытья землянок, ни даже политинформации. Полный курорт! Разве что старшина устроит разгон из-за воротничков или грязной обуви. И даже развлечение имелось: в лесу было полно дичи. Козы, косули. Стрелять никак невозможно, при такой концентрации как раз попадёшь в кого-нибудь из своих же товарищей. Уж пытались кто как, кто загонять и руками дичь ловить, кто лассо накидывать. Похоже, что из этих затей так ни у кого ничего и не вышло, зато не скучно. Поначалу, пока у входа в резиденцию не поставили вооружённый караул, можно было даже внутрь дома войти, посмотреть на чучела зверей и разнообразные охотничьи ружья. С другой же стороны, по всем солдатским приметам, можно было ожидать наступления. Каждой ночью прибывали новые люди, а однажды в лесу появились джипы-амфибии. Тут уж стало всё ясно: предстоит прорыв к немцам через водную преграду. На следующий день распределили по амфибиям людей, в том числе и миномётчиков. Например, один артиллерийский расчёт на машину. В расчёте – тяжёлый миномёт, а это сто шестьдесят килограммов веса, плюс шесть человек. И в тот же день всю их батарею заставили таскать ящики с боеприпасами от особняка к заграждению у озера, где был устроен пункт боепитания. По завершении работ поставили там караул, и вот что произошло дальше. Ночью одному из часовых показалось, что между пунктом и оградой прошмыгнула дикая коза, вот он и полоснул в этом направлении очередью из автомата, запоздало крикнув: «Стой! Кто идёт?» Уж очень хотелось попробовать свежатинки, а людей там быть – ну никак не могло! И тут же явственно услышал стон, да не козий, а самый что ни на есть человеческий. На звуки выстрелов пришёл начальник

караула, начали осматривать заросли возле проволочной сетки и нашли двух солдат-связистов с радиостанцией, одного убитого, а второго, хотя и живого, но без сознания. По красноармейским книжкам выяснилось, что солдаты служат в составе находящейся в лесу воинской части. Послали в часть оповестить об инциденте и сообщить имена радистов, а оттуда пришёл неожиданный ответ: таковых в списках нет, и никогда не было. Сразу же вызвали СМЕРШ, а к тому времени и раненый очнулся. Из допроса выяснилось, что эти двое – немецкие разведчики. Воспользовавшись тем, что незнакомые лица не обращали на себя внимания – в лесу ведь была мешанина из разных подразделений! – мнимые связисты несколько дней находились в расположении советских войск. После появления амфибий, когда стали понятны намерения русских и примерный срок начала наступления, разведчики получили приказ вернуться в Голдап, но попытка пройти мимо пункта боепитания закончилась для них плачевно. Пленный на ломаном русском языке рассказал и о том, что по вечерам, когда становилось темно, они даже питались из наших полевых кухонь. Что дальше, спрашиваете? Ну а что дальше? Операцию свернули, поскольку фактор неожиданности сошёл на нет, а у немцев, без сомнения, все близлежащие площади были заранее пристреляны, так что шансов на успех не оставалось никаких, только потери бы понесли. Ещё через два дня из леса уехали амфибии, а потом и пехоту с артиллерией направили на другие участки фронта. Но я вот что хотел подчеркнуть. Разве столь дерзкая вылазка в тыл противника, в самое, можно сказать, логово, возможна без мужества, без самообладания и готовности умереть, если потребуется, за свою страну? Особенно в конце сорок четвёртого, когда исход войны уже ни у кого не вызывал сомнений, в том числе и у немцев. Ведь вместо того, чтобы до последнего сражаться за безнадёжное дело, они могли сдать, могли и перебежчиками стать – я уверен, что их услуги были бы оценены, если бы они пошли на сотрудничество. Нет, суть не в том, что фанатики! Этак можно всех в

фанатики записать. Как я уже говорил, в нашем селе идейных коммунистов не было, а воевали не хуже других, потому что правительство правительством, а родина родиной. Вот-вот, совершенно с вами согласен, сейчас пресса чересчур снисходительна к изменникам. Что к историческим – всякого рода власовцам, полицаям, что к современным. В Чечне, я читал, прямо с военных складов оружие и боеприпасы продавались боевикам – и что? Одному дали восемь лет, ещё троим – по три года. А как надо было? Ну, так, как и положено – по законам военного времени. Я вам так скажу. Мне ещё ни одного участника войны не приходилось встречать, который бы оправдывал предателей. Нет, в этом я с вами не согласен. Плен – ещё не предательство. Тут и личные обстоятельства следует учитывать. Возьмите, например, сыновей тех, кто был раскулачен. Или других лишенцев, объявленных врагами народа. Или, например, тех, кто голод подразвёрстки и коллективизации пережил. В сорок первом году многие из них в призывном возрасте находились, их в армии было немало. За что им большевистский режим любить и тем более умирать за него? А ведь на фронте бывает, что выбор невелик: или-или. Либо плен, либо верная смерть. Но плен – это одно, а перейти на сторону врага и против своих воевать – совсем другое. Между прочим, у большинства людей разное отношение к плену и к предательству, хотя при Сталине всех военнопленных объявили изменниками. Зато теперь в прессе обозначилась обратная тенденция: всё в мире относительно, все хорошие. Да в том-то и дело, что иногда масса умнее, чем представители власти или «прогрессивная общественность», и инстинкты массы – более здоровые, что ли. Потому и говорю: предательство – оно и есть предательство, хоть позолоти его. Между прочим, Виктор Иванович одну забавную байку приводил, тоже как раз насчёт пропаганды. Эта история произошла во время нашего наступления на город Кальвария, что на юго-западе Литвы, недалеко от польской границы. Во-первых, замечу, что успешно наступающая сторона обычно стремится дер-

жать огневой контакт с противником, насколько это позволяют ей тыловое обеспечение и инженерно-авиационная поддержка, а последний, напротив, старается оторваться и уйти на заранее оснащённые оборонительные рубежи. Так вот, немцы вели бой на хуторе в пяти километрах от Кальварии, но перед рассветом скрытно оставили позиции и на автомашинах переместились на шестьдесят или около того километров западнее, где у них имелась подготовленная линия обороны. Утром их уход был обнаружен, и наша пехота двинулась вперёд, но к тому времени, когда первому эшелону фронта удалось выйти к новой дислокации, противник успел и отдохнуть, и хорошо ознакомиться с новым местом. Военные действия вновь приобрели позиционный характер. А Кальвария, таким образом, не была затронута войной. Отступающие немцы быстро проехали через город в ночной тишине, ещё через день туда без единого выстрела вошла воинская часть второго эшелона, в которой служил Виктор Иванович. Ни в одном доме не видно было жителей, но по улицам ходило и бегало множество одетых в серые халаты людей. Они без боязни приближались к солдатам и пытались что-то говорить по-литовски, но среди бойцов не было никого, кто знал бы этот язык. Наконец удалось найти переводчика, которого привезли из соседней деревни, и тут всё выяснилось. На окраине Кальварии находилась психиатрическая лечебница. Жители, напуганные боями на хуторе, забрали всё, что можно было унести, и покинули город, спрятавшись в лесу, а пациенты больницы, оставленные без присмотра, разбрелись по улицам. Происшествие это, само по себе не слишком примечательное, однако же не осталось без внимания фронтовых журналистов. Через два дня вышла дивизионная газета «За нашу советскую Родину», где на первой странице была напечатана заметка с фотографией под крупным заголовком: «Жители Кальварии восторженно встречают своих освободителей». Вот вы смеётесь, и я смеялся, потому что мы с вами знаем, что там произошло на самом деле. А какой-нибудь юный следопыт найдёт

эту или подобную газету в архивах – так ему и невдомёк. Как, вы говорите, в книжке у Оруэлла? «Министерство правды»? Талантливое название. Конечно, встречи мирного населения с войсками не всегда смешно заканчивались. Про немецкие жестокости мы все хорошо знаем, а о том, что происходило во время нашего наступления в Германии, только сейчас становится известно. Нет, я не думаю, что справедливо говорить о каком-то массовом зверстве, тем более, санкционированном. Наоборот, бывало, что военнослужащих за издевательства над мирным населением, за изнасилования и мародёрство расстреливали, мне дядя Никита говорил. Но случаи бессмысленной жестокости тоже имели место, и об одном из них я узнал ещё в детстве. Ну а что вы удивляетесь? Да, всё верно, такой у меня был богатый источник информации. Только он почти всегда и почти у всех есть, другое дело, что иногда люди не хотят ничего знать. В этом случае я бы, может, тоже предпочёл не знать, но беда в том, что признание сам слышал от нашего же земляка. Врал? Нет, не мог он врать, такими вещами не бравируют, о таком больше помалкивают. Повальное мародёрство, говорите? Ну, полагаю, что нужно уточнить, о чём идёт речь. Вот, например, на поле боя: убитый немец обыскивался, при этом всё ценное изымалось – пистолет, карта, часы. В рюкзаке можно было найти бритву, одеколон, хлеб, сало, мясные консервы, конфитюр. Могли также снять с него шинель или сапоги. Мёртвому имущество ни к чему – всё равно его похоронят. Считалось, что в этом нет ничего дурного. Иное дело – гражданское население на оккупированной территории. Наши мужики утверждали, что не знали случаев грабежа личного имущества непосредственно у жителей – это считалось плохим поступком. Исключение, по каким-то странным неписаным законам, составляли часы – их могли отобрать. А вот изъятие съестного или же фуража для лошадей велось беззастенчиво. Но это, между прочим, и в освобождаемых «братских республиках» происходило, не только в Германии. Никакой компенсации хозяевам не предлагалось. Разни-

ца в том, что на вражеской территории мирное население разбегалось. А если солдаты попадали, скажем, на мызу, брошенную хозяевами, то тут уж, предполагалось, можно забирать всё, что понравится. Но и этим мало кто злоупотреблял. Все ценные вещи и ювелирные изделия хозяева, как правило, уносили с собой. А, скажем, оставленную на мызе швейную машинку солдат тоже на горбу не потащит. Про случай с жестокостью спрашиваете? Честно говоря, до сих пор неприятно вспоминать. Эта военная хроника у меня, как заноза, в памяти сидит, и самое главное, что получена она, как я уже говорил, из первых уст. Дело почти сразу после победы было, осенью, в сорок пятом или сорок шестом, но, кажется, всё-таки в сорок шестом. Значит, мне на тот момент ещё и двенадцати лет не исполнилось, а дети в таком возрасте очень впечатлительны. Помнится, дядя Никита и дядя Спартак ремонтировали нам крышу, и на этот раз привели с собой ещё двоих, нашего соседа Федю Думченко, молодого парня, и Длинного Ивана – жил у нас такой мужик, вдовец, по фамилии Жук. Длинный – потому что очень высокого роста, да и вообще он крепкий был, крупный, широкий в плечах, выносливый, как вол. Нет, чтобы подковы гнул – этого я не видел, но он мог бы, точно говорю. Помню, что волосы у него были чёрные, а брови густые, сросшиеся на переносице. Близко он ни с кем не сходил, да и жил на отшибе, но если кто-то о помощи просил, не отказывал, правда, не бескорыстно. На этот раз матери почему-то дома не было, но всё равно после работы все сели за стол, бабушка в погреб за картошкой полезла, чтобы со шкварками поджарить, Спартак быстренько за бутылкой сбегал к себе в сарай. Налили, выпили. Ну, слово за слово, поговорили об урожае, поругали райкомовских за то, что те так и не удосужились подвести к домам обещанное ещё весной электричество. Под эти разговоры распили вторую бутылку спартаковского самогона, дошла очередь и до венгерских окороков и поилок для коров. А Длинный Иван как-то резво надрался, даром, что здоровенный с виду – и вдруг стал хвастать, что своими руками четве-

рых фрицев убил. Видно, между ними и раньше такие разговоры шли, потому что Федя выразил сомнение, дескать, не поймёшь тебя, то ли троих, то ли четверых, усмехнувшись, сказал Ивану: «Не свисти! И не пей больше, а то скоро до десяти дойдёт». «Троих, – ответил Длинный, – это из винтовки. Да ещё девчонку на хуторе». В общем, рассказал он нам, что с ним произошло. Его отделение проходило мимо полуразрушенного хутора, на вид нежилого. А тут как будто дымком оттуда потянуло и запахом хлеба. Вот командир и послал Ивана посмотреть, нельзя ли раздобыть какой-нибудь еды. Тот зашёл, посмотрел – вроде, пусто. Но когда вышел во двор, услышал какой-то шорох возле колодца. Расположенный с правой стороны от ворот колодец был довольно большим, круглым, с выложенным из камня высоким оголовком. За оголовком, между стеной и колодцем, пряталась тщедушная девчонка, белокурая и белобрысая – так он её описал. Оттого, что она, стараясь быть незаметной, съёжилась, прижимая колени к груди, платье задралось. Увидев, что обнаружена и проследив за взглядом страшного небритого солдата, девчонка стала что-то быстро-быстро лопотать по-немецки, из чего Иван понял только слово «нихт». При этом она то обеими руками подтягивала вниз подол платья, то обеими же руками показывала на пальцах цифру двенадцать – видимо, пытаясь объяснить Ивану, что ей только двенадцать лет. «Ну и что ты её в покое не оставил? – спросил Федя, – Бросилась она на тебя, что ли? Или, может, у неё пистолет был?» «Какое там «бросилась», – ответил Длинный, – она вся тряслась от страха. Просто на меня вдруг такая ярость накатила – я взял вилы, которые там же у стены валялись, да и заколол её. У неё струйки крови изо рта побежали, а я приподнял вилами эту суку фашистскую и в колодец сбросил – только пузыри пошли». Судя по тому, как спокойно Иван рассказывал о случившемся, никаких терзаний по этому поводу он не испытывал. В горнице, между тем, установилось тяжёлое молчание, прерванное бабкой. Вообще-то бабка у нас не гневливая была, добрая. А тут она как раз сковородку с кар-

тошкой несла подавать, и так грохнула ею об стол, что стаканы и ложки на пол посыпались. «Сволочь ты, Иван, – сказала, – не будет тебе счастья. Бог тебя накажет за то, что ты невинного ребёнка погубил. А сейчас иди-ка ты подобру-поздорову из моего дома и больше не приходи никогда». Ну а что Иван? У него, знаете ли, лицо было такое, не слишком выразительное, во всяком случае, я на нём никаких изменений не увидел. Встал да пошёл. Между прочим, бабка у нас знахаркой была, об этом и раньше на селе знали. Но случилось так, что Иван после того вечера не долго прожил. И года не миновало, как он похудел, почернел заметно, а однажды не вышел в колхоз на работу. За ним послали, а он уже мёртвый. Сбылось предсказание, только не знаю, к добру ли. Всего лишь совпадение, конечно, но односельчане после того случая бабку побаиваться стали. Хотя и слава об её знахарстве на весь район разнеслась. К нам однажды даже секретарь обкома на «Волге» пожаловал – младенец у него плакал, не переставая, вот и приехал заговаривать. Но об этом я вам в другой раз расскажу, если ещё будете в наших краях, а пока до свидания – вон уже мой автобус к платформе подают. И вам спасибо за компанию, удачи!



## Валерий ДЫЛЬЦОВ

Ростов-на-Дону

*Родился в 1949 году. Окончил Таганрогский радиотехнический институт.*

*Автор книг «След на камне», «Кружение жёлтого листа», «Право на выдох», «Пора камнепада». Участвовал в сборниках «Перевал», «Перекрёсток». В серии «32-е полосы» представлен книгами «Направление к земному ядру», «Птица с перьями голубыми», «Чёрная метка Этана».*

*С 2000 года состоит в Союзе российских писателей.*

\*\*\*

пятизвёздное кочевье,  
трюм яремников галер,  
незнакомые деревья  
по-над Руром, на скале  
заблукавший русский леший  
позабыл отчизны дым  
возле кирхи, уцелевшей  
от бессмысленной вражды,  
озирают херувимы  
мир задраенных дверей,  
где, увы, необратима  
параноя у царей.  
И летит над схваткой Фрейя,  
возвращаясь в мирный скит,  
все влюблённые деревья  
ей бросают лепестки,  
нам давно не до идиллий,  
милый ангел, век не тот,  
только веточка в бутылки  
непреренно расцветёт

чем слабей, тем непокорней,  
без расчёта, без идей  
бесшабашно пустит корни  
в отфильтрованной воде.  
И роднится с небом синим  
синева усталых век,  
Vaterland, страна Россия,  
крестный путь, gekreutzer Weg.

\* \* \*

Путая закаты и рассветы,  
я по белу свету кочевал,  
на постели из сосновых веток  
под открытым небом ночевал.  
Не дрожал под тонким одеялом –  
жаркий, молодой и заводной...

На заре над Борусом<sup>1</sup> стояло  
розовое облачко одно.

За ночным, за чёрным перевалом  
накалялся тлеющий восток,  
делая из розового алым  
распылённой влаги завиток,  
ставший романтическим началом  
чёрных поэтических чернил...

Я потом ходил к пустым причалам,  
я друзей, рыдая, хоронил  
и, когда увидел, что бессилён  
оправдаться в кривизне пути, –  
оставалось алое на синем  
облачко, нетленное почти.

---

<sup>1</sup> Борус – горная вершина в Западных Саянах.

Вот тогда и догадаться мне бы,  
глядя на восход из-под руки:  
дураки, взыскующие неба,  
как ни кинь, всего лишь дураки.

\* \* \*

Натужный скрежет старого мотора,  
непешный мах ресничных опахал –  
попутный ангел, упорхнув из хора,  
зелёными очами польхал,  
и нежное пронзительное жало  
оттаявшую душу стерегло  
в те полчаса, покуда дребезжало  
автобусное мутное стекло,  
и в окруженье ржавого металла,  
под знаком оперённого плеча  
окалина с аорты облетала,  
забыто капилляры щекоча.

Но в мире этом ангелам и птицам  
не сладить с притяжением высот,  
и небожитель в стаю воротится,  
и душу ненароком унесёт –  
беспечную держательницу акций  
грабительского треста красоты...  
На сейф пустой участливо ложатся  
поэзии холодные персты.

\* \* \*

Не пиита, но оратая  
Снарядив когда-то в путь,  
Муза – девочка крылатая –  
Упорхнула, не вернуть.

Отряхай орехи-жёлуди –  
Незавидный урожай,  
Музу с бедрами тяжёлыми  
Принимай и ублажай.

Есть в дубраве ли, в орешнике  
Заповедные места,  
Где смущают душу грешные,  
Жизнью сжатые уста...

Дай, потатчица-владычица,  
Отдышаться от обид,  
Пока в лист бумажный тычется  
Заговоренный графит.

Что ни сложится, ни скажется  
До последней запятой, –  
Всё о долге, все о тяжести,  
Всё о плоти золотой.

И пока на солнце с пятнами  
В задымлённое стекло  
Мы глядели, мглой закатною  
Горизонт заволокло.

Что нам с рифмами-глаголами  
Чёрный морок впереди?..  
Муза с бедрами тяжёлыми,  
Пощади, не уходи.

\*\*\*

Здесь стерня выгорает кругами,  
Бронетехника прёт напролом...  
Напоследок сложи оригами –  
Журавля с перебитым крылом,

Ведь летит над горящим баракон,  
И трубит над пропащей страной  
Шестикрылый с фасеточным зраком  
Обитатель небес коренной.

Выжигая с державных ладоней,  
С исполинских корявых десниц  
Кровь невинных и грязь, и плутоний,  
И мазут боевых колесниц.

Что за храм возведём на крови мы  
Из оплавленных Небом камней...  
Меч, приросший к руке серафима,  
Никогда не расстанется с ней.

И в зенит раскалённый не глядя,  
Среди пепла великих держав  
Мы всё те же раскроем тетради,  
Карандаш обречённо зажав.

Сергей ЗУБКОВ  
Хайдельберг

## ГОРБУНЬЯ И ТРЕТИЙ КАПИТАН *Защитникам Родины посвящается...*

Чебаркульский полигон, 1984 год. Три часа ночи и три капитана в поисках приключений. Военный «Камаз» «прокалывает» уральские деревни, расталкивая светом фар убогие домишки. Мы ищем, где бы нам выпить водки, чтобы вознаградить себя за сегодняшние отличные стрельбы. Да, дали мы копоты: размолотили мишени вертолётов в щепки, и обслуга полигона будет теперь до самого утра клепать новые.

Лёша Макаренко, жилистый капитан со впалыми, почти чёрными от зимнего загара и чифиря щеками, предлагает поехать в деревню Кугалы, где живёт его знакомая, у которой если даже и нет, то она точно знает – у кого ЕСТЬ. Разворачиваемся и едем в Кугалы. Знакомую зовут Петровна, она не спит и, похоже, озабочена теми же проблемами, что и мы. Говорит, что водка есть у её соседей – Золотарёвых, но продают они по «червонцу» за бутылку и ей это самой «не поднять». Стучим к Золотарёвым и берём за двадцать пять (ночью дороже) две бутылки водки. На столе у Петровны слипшаяся вермишель, хлеб и чай. «Одалживаем» у нашего водителя две банки говяжьей тушёнки и вываливаем их застывшее содержимое прямо на вермишель. Петровна давится первой же рюмкой и становится ясно, что ей давно пора завязывать. Через два подхода – остаётся полбутылки... За столом идёт грустный разговор о юности Петровны, когда она ещё «и хотела, и могла». Внезапно появляется девушка лет 17-18, с чудесными золотистыми волосами. У неё пронзительно-васильковые с лисьим разрезом глаза, чувственный рот, удивительный для российской глубинки «ахматовский» нос, упругая грудь и всё остальное, внезапно созревшее,

чтобы дарить и получать любовь. А ещё: огромной шишкой выпирающий в районе правой лопатки уродливый горб. Её пожизненное горе и вечная вина Петровны, которая выронила годовалую дочь из своих усталых рук...

Внимание застолья тут же переключается на девушку, которую зовут Любаша. Глаза Петровны добрееют и светятся гордостью. Ещё бы (!), сразу два капитана флиртуют с её дочерью. В поведении Любаши – смесь скромности, стыдливости, проснувшейся женственности и вызов всему свету. Она улыбается, но не даёт ни одному из нас повода перейти к отношениям, когда уже больше «да», чем «нет». Мы гусарим, кто как может. Лёха держит налитый стакан на тыльной стороне ладони и из этого положения выпивает его до дна. Любаша хохочет. Я решил рискнуть почитать свои стихи:

*В Феодосии Распутин  
Пил «Мадеру», как и в «Яре»,  
Оставаясь неприступен  
Для любви красивой «шмары».  
А зачем сюда приехал  
Светлой веры тёмный рыцарь,  
Предаваться что ль утехам,  
Не присматриваясь к лицам?  
Или вырваться из плена  
Записного конокрада?  
Феодосия – мгновенна,  
Как благоуханность яда!  
В этой маленькой прихожей  
Состоялось воскрешенье,  
Стал и чище, и моложе,  
Видно свыше разрешенье.  
А раскосый глаз хрустальный,  
С зеленцой аквамарина,  
Был и тихий, и печальный,  
И ничем не повторимый...*

Я читаю, и вдруг в голове – ужасом – проносится мысль, что в этом стихотворении есть ещё один персонаж – горбун и об ЭТОМ сейчас никак нельзя... Но я уже не могу остановиться, потому что Любаша смотрит и слушает так, словно прекрасные князья как раз возносят её на престол, с которого она будет повелевать этой огромной страной, с медными горами и малахитовыми шкатулками...

*А куда ему пороки  
От любимых женщин спрятать,  
Надоевшие уроки  
Из «царицкиной» кровати?  
Эх, Распутин, бедный Гришка,  
Кто же знал, что так случится?  
Как проказливый мальчишка,  
Ты уматывал в столицу...  
Ничего не повторится!  
Слов проклятых не хватает,  
А дыхание спирает.  
(Хоть ворона, хоть лисица -  
Ничего не повторится  
В этом мире непонятном!  
Не хватает старой платы.  
Так-то, братья демократы!)*

*Вот идёт горбун знакомый,  
Он бутылки собирает:  
Ни на что не претендует,  
Никого не выбирает...*

Как только мои губы произносят слово «горбун», лицо Любаши искажается, словно её живьём нанизывают на огромный и безжалостный шампур. Как же я ненавижу себя в эти секунды! Лёша и Петровна смотрят на меня с удивлением и презрительной жалостью, и я вдруг чувствую, как точно та-

кой же шампур раздирает меня внизу, протыкает желудок и движется прямо к сердцу. Я сжимаю кулаки в последней мольбе «о быстром конце», и перед глазами начинает проплывать моя относительно удачная и сытая жизнь, любящие родители, бабушки с дедушками, девушки, которые были ко мне добры, очередные воинские звания, непроходимые дороги, полуразрушенные деревни, пьяные мужики, хамовитые продавщицы, поезда, с налётом сажи внутри и снаружи, крымские водопады, полёт со знакомым лётчиком на предельно малой высоте, моя маленькая дочь... Сердце испуганно сжимается, но тут же раскрывается, как податливое естество любимой женщины, освобождающее дорогу для «всего и навсегда». В этот момент я вдруг отчётливо понимаю, что все мы – обречённые. Да-да, все мы обречены вечно любить Россию: нашу единственную, горбатую и самую красивую женщину... И, пока есть такие, как мы, никогда не размоется граница между добром и злом, и мир – не погибнет.

– А где же третий капитан? – спросите вы. А он всё это время сидел в машине, добровольно охраняя наш, не совсем законный, отдых.

Не грех за него выпить, а?

## СЛУШАЯ РОЗЕНБАУМА

*Хозяин, в общем-то, давно себе я сам,  
И не умея церемониться с гостями,  
Я каждый вечер поднимаюсь в небеса,  
Чтоб потянуться вдаль за дикими гусями,  
Я каждый вечер поднимаюсь в небеса.*

**В**от так и я: мечтаю уже с утра! То мне кажется, что я выиграл в лото огромные деньги, которых хватит, чтобы откупиться от своих близких, помочь нуждающимся друзьям, а потом

по чертежам известных дизайнеров построить себе современное уютное гнёздышко в лесу, у моря, где можно будет с новой, молодой, умной и красивой женой ещё раз продолжить свой род и, выходя на благообразные прогулки по вечерам, вызывать умильные улыбки прикормленных соседей.

*И мне не важен от синоптиков прогноз,  
Плевать на все, когда идешь на шторма штурм.  
Я пролетаю над Валдаем в море гроз,  
Вжимая в пепельницу тлеющий окурок,  
Я пролетаю над Валдаем в море гроз.*

Или представляю, что я нашёл свою первую и настоящую любовь, уехал к ней и, не замечая, что прошло уже 25 лет, купаю её в ванной, а потом покрываю её каким-то особенным кремом, она снова молодеет и, звонко смеясь, дарит мне те самые ощущения, которых последнее время так не хватает. А я начинаю преподавать юриспруденцию и уже через несколько лет становлюсь знаменитым адвокатом, открываю свою школу, что-то вроде: «Школа практического администрирования», и московские специалисты приезжают ко мне на установочные семинары.

Вокруг меня – обожающее семейство, почитатели моего ума, уважение, любовь...

*На землю брошенных российских деревень  
Я опускаюсь – далеко лететь непросто.  
И отдыхаю на полуденной траве,  
Лицом уткнувшись в опостылевшую простынь,  
Я отдыхаю на полуденной траве.*

А иногда – проще: немного денег, переезд в далёкую крымскую деревню, молоко по утрам, пескари в реке, свой огородик, но потом всё-таки председатель сельсовета, почёт и уважение, делегируют лучшую женщину, продолжение рода, мальчик

Ваня, кучерявый, с кривоватыми крепкими ножками, дом из можжевельника и «Тойота» для выезда на пикники.

Дальше больше. Строительство «Крымской Рублёвки», знаменитость со знаменитостями, печатание сборника стихов, шлягеры, где имя автора называют первым.

*Летит над морем терпигорец – старый гусь,  
И я стараюсь не отстать, машу крылами.  
Там так тепло, на дальнем южном берегу,  
А здесь, на кухне, греет нас горелки пламя,  
А там тепло, на дальнем южном берегу.*

А может, не надо выдумывать велосипед?! Туда, в Феодосию, к хозяйке маленькой гостиницы, которая ждёт, малюя свои картины. Устроенный быт: полгода – отдыхающие, полгода – отдых от них и творчество. Можно будет ещё факультативно набережную подметать: очертить себе мысленно участок, где больше всего людей по утрам ходит, и подметать, и принимать людскую благодарность, и отзываться на радушные зазывания в кофейни, и пить кофе, выкуривая по сигаретке с каждой барменшей, и слушать их истории, и записывать их, и издавать книги, и стать известным, и продолжить род...

*Воображение – не детская игра,  
Разорван мозг мой разноцветными огнями,  
И я ложусь в районе Мурманска в вираж,  
Оставив два пера охотнику на память,  
И я ложусь в районе Мурманска в вираж.*

Или положиться на шестое чувство и отнять у мира эту харьковчанку, с чудесным слогом и некоторыми признаками того, что она ещё долго не постареет, и сцепить зубы, пообещав «больше ни за кем не волочиться», и выполнить обещание, и привыкнуть быть заботливым каждый день, и готовить для неё шашлыки из сома, и посвящать ей стихи на украинском, и

петь ей раннего Высоцкого, и взять её фамилию, и любить её внуков, и продолжить её род...

*Как надоело все – от кукол и до баб.  
Отдать бы жизнь природе-матушке на откуп,  
Но сил хватает лишь на то, чтоб сесть в кабак,  
И заказать, как встарь, шашлык и двести водки,  
Мне сил хватает лишь на то, чтоб сесть в кабак.*

И спросить себя: а хватит у тебя сил сделать хоть что-нибудь из того, о чём мечтаешь? И сходить к врачу, и серьёзно заняться здоровьем, и бегать, и похудеть, и считать калории, и бросить пить и курить, и перестать жрать жирное на ночь, и заметить, что стихи больше не пишутся и пропал интерес к женщинам, и купить таблетки, и восстановить интерес к женщинам, и снова писать стихи, и снова пить и курить, и жрать, но уже осторожнее, и опять начинать мечтать...

*Хозяин, в общем-то, давно себе я сам,  
И, не умея церемониться с гостями,  
Я каждый вечер поднимаюсь в небеса,  
Чтоб потянуться вдаль за дикими гусями,  
Я каждый вечер поднимаюсь в небеса.*

А если на Север? Алтай или Архангельский край? Морозы, звонкие и честные русские девчата, патриархальный быт, пар из коровника, рубить дрова, еда – исключительно простая: картоха, капуста, ягоды, в Храм ходить, быть внимательным к детям, чинить лыжи и велосипеды, забросить компьютер, писать письма только родным, и, запечатывая конверт, отправлять в нём остатки своей души...

## ТОТ, КТО УДЕРЖИВАЛ СВЕТ

*В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро.*

*(Быт. 1:1-5)*

Аулица-то называлась – Таврическая!!! В названии – сразу всё: и море, и платаны, и голубоглазые блондинки без претензий, и горы, и солнце, нежно и горячо обнимающее нас. Нам по 17, и учимся мы все в Симферополе на автослесарей в ПТУ с благородным названием – техническое училище № 1.

А живём мы впятером в 16-метровой комнате, в маленьком, прилепившемся к улице домике, что чуть ниже телевизионной вышки. Построенный из разнокалиберных стройматериалов двор наш выглядит довольно убого, но мы этого не замечаем и приходим сюда, как в чудесное пристанище удивительного начала нашей самостоятельной жизни.

Вдругой, меньшей, комнате, задуманной как спальня, живёт хозяйка этого дома вместе с полупарализованным мужем. Старик каждое утро минут по 40 бреется: здоровой рукой водит он механической бритвой по впалым щекам, дисциплинированно ожидая, пока хозяйка в очередной раз накрутит пружину бритвы. Затем сидит весь день на кровати, пристально глядя в белую стену перед собой. Оживляется он, когда кто-нибудь забывает выключить в коридоре свет, и тогда из спальни доносится его надрывное: «Ли-ихт! Ли-ихт!» Те из нас, кто изучал немецкий, сразу понимают, что речь идёт о свете. Выключаем и спрашиваем у хозяйки: почему дед говорит по-немецки? Она отвечает, что это не немецкий, а идиш и что все евреи говорят на идиш с детства, а потом, после инсульта например, вспоминают свой первый язык. Все евреи говорят? Что-то не замечал. Я вдруг осознаю, что идиш и немецкий очень похожие языки.

И задумываюсь – не здесь ли одна из причин уничтожения евреев? Немцам просто необходимо было избавиться от «нечистой расы» с такой языковой близостью к ним...

Хозяйка, вычислив меня среди остальных по более уважительному отношению к себе, потихоньку показывает мне парадный китель деда, где на лацканах, помимо двух десятков медалей, «Орден Ленина» и два ордена «Трудового Красного Знамени». «Орден Ленина» и медали – за войну, «трудовые» ордена – за освоение целины. Потом она мне покажет ещё именное оружие «от Рокоссовского» и скажет, закатывая глаза вверх, что дед был бо-ольшим начальником. Но я не могу его представить молодым и сильным, а только вижу, как эта худая и тонкая оболочка, подхватывая той же, что и бритву, рукой винтовку с примкнутым штыком, выбрасывает себя за бруствер и под градом осколков и пуль, выдирающих куски мяса из солдатской массы, кричит тонким голосом: «Лихт!!! Лихт!!!» Солдаты послушно поднимаются в атаку и обречённо делают первый шаг за нашим Мойшей, а он, припадая на одну ногу и блестя слезами в сторону вражеских окопов, бежит, продолжая кричать: «Лихт!!! Лихт!!! Лихт!!!» Немцы, озадаченные этой картиной, начинают стрелять уже только в этот крик. Огненный жгут сверкающей анакондой обвивается вокруг его тела, однако мудрые и справедливые небеса тут же ставят пулям невидимый, но непреодолимый заслон. Небеса знают, что Мойше нужно ещё пахать и пахать: поднимать, например, целину, зачинать и воспитывать детей, где-то опять честно работать, построить этот домик на окраине Симферополя и закончить жизнь на положенных ему шести метрах.

Иисусу что? Раз – и всё! Не только конец, но и НАЧАЛО... хоть и терновый, но ВЕНЕЦ и практически бесконечное поклонение. А наш старик всю жизнь сражался за свет, а сам света так и не увидел! И вот теперь, почти в конце жизни, в коридоре горит свет, а сил и остатка извилин в голове хватает только на то, чтобы крикнуть куда-то в пустоту: «Ли-ихт! Ли-и-ихт!»

Но согласитесь, что *те, кто удерживал свет*, имеют право потребовать, чтобы его выключили... Или как?!

# Литкафе



*Здравствуйте! Вы пишете стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, вы нам – свое реальное стихо- или прозотворение.*

*Здравствуйте! Вы любите стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, реальные стихи и рассказы, вы нам – ваше доброжелательное внимание: ведь авторы, даже очень самоуверенные с виду, всегда волнуются...*

*Согласно Уставу, в кафе каждый раз будут приглашаться всё новые и новые авторы. Прежним остаётся только место встречи. Его, как мы помним, изменить нельзя.*

*Сегодня к нам на чашечку кофе заглянули авторы макеевского (Украина) литобъединения.*

*Добро пожаловать!*



## Оксана БАЛИНЧЕНКО

**Песенка о розовой собаке**

Когда Судьба сотрет с пути удачи знаки,  
Потушит все огни, цветы иссушит все,  
Я песенку спою о Розовой собаке,  
Что бродит по моей неслаженной стезе.

Какой хороший цвет, и яркий, и не жгучий!  
И свой клубничный нос мой пес ко мне прижмет,  
Продолжит мой концерт, сумеет спеть и лучше,  
И лапу мне подаст, и душу обретет.

Когда же завершим мы свой дуэт случайный,  
То в казино Судьбы со мной мой пес войдет,  
Полдюжины зубов на косточке игральной  
Оставят четкий след – на мой счастливый ход!

И я не признаю копанья в Зодиаке,  
До истины вино вовеки не допью,  
Я песенку спою о Розовой собаке,  
Что мне покой найдет, как туфельку мою.

## Джонка

Счастье – розовая джонка  
Меж аспидных скал.  
С этой джонкой – напряженка –  
Знает, кто искал.

Я достиг успеха в свете,  
На пределе сил.  
Но какой-то подлый ветер  
Джонку относил.

Я умаял дух и тело  
И упал больной.  
Джонка счастья пролетела  
В небе надо мной.

## Покаянный мотив

Посажу я у дома плакучую иву  
И уеду искать веселее края.  
Две подруги дождутся меня терпеливо:  
Эта самая ива и мама моя.

Все трудней прерывать бесконечность разлуки,  
Слишком годы быстры, хоть полны, хоть пусты.  
И в тоске, словно ветви, ломаются руки,  
И ложатся снега на листки и виски.

Я однажды вернусь, захочу торопливо  
Повиниться во всем, до последнего дня...  
Только встретит меня лишь плакучая ива  
И расскажет, как мама простила меня.

## Сионада

Что скрипишь, моя жалейка,  
Меж ладов полно ль песку?  
Полюби меня, еврейка,  
За нерусскую тоску.  
На плечах – судьба-бездейка,  
На церквях – сусальный грим.  
Полюби меня, еврейка,  
Проведи к святым своим.

За меня замолви слово  
Шестиполюсной звезде:  
Сердцу хочется иного,  
Чем погибель на кресте.

Во дворе зима-злодейка,  
И, как птицу – в теплый край,  
Забери меня, еврейка,  
В свой Сион или Синай.

## Пока не грянул листопад...

Пока не грянул листопад –  
Еще не осень.  
Не рвется память в летний сад,  
Уздечку сбросив.

В солидность дум исподтишка  
Проникнет робость,  
Как в траекторию прыжка –  
Паденье в пропасть.

Молчит о главном Зодиак  
В тумане сизом.  
И так известно будет как,  
Не ждешь сюрпризов.

Пока не кончен листопад,  
Еще не холод,  
Лишь холодком повеял взгляд  
От тех, кто молод.

Реально в небе воронье,  
Фальшивы трели,  
Что одиночество твое  
Не усмотрели.

Владеет осени секрет  
Душой и телом.  
И ты, познав, что счастья нет,  
Займешься делом.



*Фото Виктора Харика*

## Любовь ХУЗНЕЦОВА

### Явилось чудо

Проклюнулись на яблонях цветы,  
Раскрыли удивительные створки.  
Как гениально искренне чисты  
Глаза их. Ароматно-ясно зорки.

Голубизну теряют небеса  
С досады. Проиграв цветам сравненье.  
И радуги изгибом полоса  
Склоняется пред ними в изумленьи.

Целует их несмело ветерок,  
Пыльцу, как шелк, нежнейшую лаская.  
Явилось чудо! На короткий срок  
Ожившее в ладонях теплых мая.

### Ненастная пора имеет право...

Осенний день в предверии заката.  
В нем грусть скользит с остатками тепла,  
И от обиды, что не виновата,  
Не плакать осень просто не смогла.

Холодный дождь обрушился на город.  
На крыши, тротуары и кусты.  
Надела плащ и подняла я ворот,  
Как к лету все отрезала мосты.

Ненастная пора имеет право  
Пробраться в душу зябким сквозняком.  
На прихоти природы нет управы,  
Но, благо, есть уютный, теплый дом.

Где можно, согреваясь чашкой чая,  
Сев в кресло, завернувшись в теплый плед,  
Родную крышу над собою ощущая,  
Надежно спрятаться от непогод и бед.

\* \* \*

Я наслаждаюсь октябрем  
Скользяще-желтым под ногами.  
Пока сухим и теплым днем,  
Уже бодрящим – вечерами.

Поразукрасившим листву  
В оттенки яркие заката,  
И подтверждающим молву,  
Что осень золотом богата,

Что выпивая синеву  
Днем солнечным из звонких кружек,  
Она, березкой на ветру,  
Танцует вальс в кругу подружек.

Ей красоты не занимать,  
И, четко соблюдая сроки,  
Пока не будет вспоминать  
Свои причуды и пороки.

Ноябрь избавит от надежд,  
Что танец солнца будет вечен.  
Остатки праздничных одежд  
Он сбросит осени на плечи.

Попоной стынувших небес  
Уснувшие поля накроет,  
А осень, доведя до слез,  
Зимою снежной успокоит.



*Фото Виктора Харика*

## Урина ТОРБАНЬ

\* \* \*

Мне бы прижаться к воздуху холодной щекой,  
потянуться, встав на цыпочки, к обледенелой  
ветке и сорвать кем-то забытое яблоко...

Мне бы дотянуться взглядом до зыбкой радуги,  
не вставая на цыпочки, а мимоходом, словно я  
каждый день встречаюсь с ней перед завтраком...

Мне бы почувствовать горький аромат пережаренного  
кофе, выкинув из головы всякий бред о чае с бергамотом  
вместе с расколотой чашкой...

Мысли... мысли... но в руках у меня дрожит в полудрёме ёж.  
Самый прозаический ёж, на которого я чуть не наступила,  
пытаясь дотянуться до радуги...

### Не герой ли?..

Если хочешь сказать – молчи.  
Отвернись, если видеть хочешь.  
Не скворцы душу рвут – грачи,  
Что чернее пречёрной ночи.

Если встретить готов – беги  
(Километры врачуют душу).  
Ни дорог впереди, ни зги –  
Ты не сердце, а разум слушай.

Если жажда иссушит рот,  
Не источник ищи – Сахару.

Отвергает тебя народ?  
Брось скульптурку и возьми гитару.

И теперь не молчи, а пой  
Всем пичугам во славу Божью,  
Возвращаясь чужой тропой  
Темной ночью по бездорожью.

## Крылья из пуха

Долой стесненность, тихий нрав,  
Отбросив кротость,  
С улыбкой принципы поправ,  
Шагнула в пропасть.

А там летела не одна, –  
С лебяжьим пухом.  
А, может, прыгнула со дна  
Навстречу слухам?

Но вот замешкалась, лечу  
С порывом ветра,  
Лебяжий пух приник к плечу,  
А был в ста метрах...

Лететь бы вниз, но отчего  
Взлетаю птицей?  
Сознание слышит ветра вой...  
Иль это снится?..

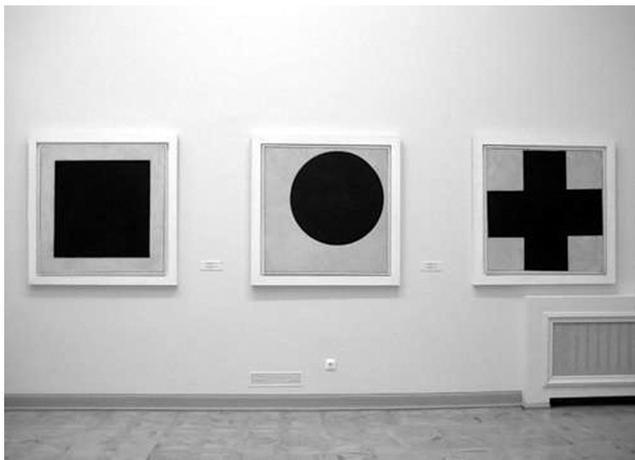
Забрезжил сон на волоске  
И... просыпаюсь.  
Шагнула в пропасть. Где и с кем?  
С любимым.  
Каюсь...

## Дружба в Квадрате Малевича

Знаменитый квадрат – это замкнутый круг:  
Рубиконы, мосты, перевалы, вокзалы.  
Я давно растеряла друзей и подруг,  
Но «прощай» никогда никому не сказала.

Параллели судьбы, вертикали дорог,  
Уходящих друзей полустёртые лица...  
В квадратуре угла от потери продрог  
Шар души, не успевший об угол разбиться.

Знаменитый квадрат и потерянный круг...  
– Что важнее сейчас?  
– Да, пожалуй, вокзалы.  
Что с того, что давно растеряла подруг?  
Я на узел давно и судьбу завязала...



*Казимир Малевич. «Триптих», 1915*

## Елизавета ХАПЛАНОВА

### Об ускользающем...

Заледеневшие остатки дня  
опустятся над городом неслышно...  
И все слова покажутся излишни  
в ночи, где ритмы звёздные звенят.  
По параллелям зимних мостовых  
несутся сны в согретые постели,  
а мы с тобой согреться не сумели...  
Для нас возможен лишь короткий миг,  
дробящий жизнь на «до» и... бесприют,  
взмывающий в межзвездные пространства.  
Зима благословляет постоянство –  
на острие, на грани, на краю...  
И если снег земле тепло даёт,  
то нам с тобой он тоже не помеха.  
Приснится вдруг, что ты зимой приехал –  
и наяву растает этот лёд.

Я по ладони, словно по судьбе,  
пройтись хочу неторопливым взглядом:  
провидицу мне звать, поверь, не надо –  
я без неё всё знаю о тебе...  
Остатки дня растают, словно снег,  
повесив в небесах желток фонарный.  
Но двум снежинкам, падающим парно,  
несложно задержать мгновений бег...





Александр ДАК

### На полуслове...

На полуслове – мрак,  
На полувдохе – выдох.  
Спущен победный флаг,  
Дождик соленый высох.

Слышен отборный мат  
Там, где смеялись двое –  
Потоплен в бою фрегат,  
И капитан в запое.

Прёт напролом вперед,  
Хлопнув десяток унций,  
Наотмашь по жизни бьёт –  
Только б не оглянуться...

Скажешь, ты ни при чём,  
Да вот ведь какое дело:  
Пусто за правым плечом,  
И гул голосов за левым...

### В упор

Глаза в глаза... вот это разговор.  
Глаза не скроют, что там за душою.  
Здесь обмануть – как выстрелить в упор.

Глаза в глаза. Закончим давний спор.  
Давай поговорим о нас с тобою...  
Но раз за разом ты отводишь взор.

... И слышу я, как лязгает затвор.

## Письмо гусара из уездного города N

Что написать, мой друг, не жизнь – рутина,  
Попойки, карты, мятый доломан...  
И каждым утром всё одна картина:  
Башка трещит и не трещит карман.

Не зря сюда вы ехать не хотели,  
Здесь не Париж, и даже не Тамбов...  
И скукота – за месяц три дуэли,  
Все – спьяну мимо... с двадцати шагов.

Скажите папеньке спасибо...не забудьте,  
Вам жизнь я спас от этой маеты.  
Старик – шельмец, и знал, что в Петербурге  
Быстрей чины даются и кресты.

Да бросьте... Ни о чём я не жалею.  
Шампань рекой, здоровьем я не слаб...  
И пусть уже вы с Анною на шее -  
Я здесь в плену у всех уездных баб.

## Я уйду

Я уйду в параллельное небо, где звёзды иные.  
Я уйду в параллельное завтра, где нету оков.  
Там все люди, как братья, и все там друг другу родные.  
Я забуду про мир, где охота идёт на волков.  
Там не воют машины, там лютни поют и кифары.  
Там не ищут ответов, там правильный ищут вопрос.

...Наплевать, что там кормят баландой и бьют санитары.  
Но зато там, в соседней палате, Аллах и Христос.

## Тополиный пух...

Всё будет так, мой друг, и не иначе.  
И снова ночь, и на часах без двух...  
Отвеселится май, июль оплачет,  
А между ними – тополиный пух:  
Мгновенье от рожденья и до тризны,  
И только приземлившись – снова ввысь.

Вот так и мы с тобой по этой жизни  
Тем пухом тополиным пронеслись...

Добрые слова  
А в осени моей не только грусть,  
И в эту пору сбора урожая  
С полей не только камни собираю...  
Бегут мгновенья, годы... Ну и пусть...

В душе моей бывает и светло –  
И осенью ещё кому-то нужен...  
И сразу лёгок стих и не натужен,  
И пью вздох осеннее тепло.

И снова манит неба синева,  
И лист осенний снова станет ярким,  
И вижу, что не всё засохло в парке,  
И есть ещё зелёная трава.

Как лечат душу добрые слова...

## ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ...

**М**акеевка – почти полумиллионный украинский город в Донецкой области, практически слившийся воедино с областным центром. Город со славной богатой трехвековой историей и, как говорят в народе, «город с особым характером». По-другому и быть не может. Ведь живут здесь мужественные шахтёры, волевые металлурги и... мечтатели-поэты.

Макеевское городское литературное объединение имени Николая Хапланова появилось сравнительно недавно, около года назад. Идея собрать вместе пишущую братию города поначалу казалась сумасбродной. Но ведь Макеевка еще с советских времён считалась литературной столицей Донбасса. Именно наш город дал литературе Александра Авдеенко и гремевший в те годы роман «Я люблю», Владимира Попова и его знаменитый роман «Сталь и шлак», Леонида Жарикова с его «Повестью о суровом друге»... А ещё прекрасных поэтов Михаила Фролова, Николая Анциферова, Виктора Яковенко, Людмилу Шеванову, Анатолия Таранца, Виктора Коняхина, Олега Бузулука, Владислава Фатьянова, Николая Хапланова и многих-многих других. А потому возродить Поэзию и в целом литературу в нашем городе стало делом чести. Сегодня литературное объединение макеевчан – это люди самых разных возрастов, профессий, интересов. Но всех нас объединяет одна цель – повышение общественного интереса к литературе, возрождение утерянных по дороге в XXI век ценностей. Сможем ли дать людям то, в чем нуждаются их души? Получится ли оставить добрый след в литературе? Время покажет...

*Елизавета Хапланова,  
председатель макеевского городского отделения  
Межрегионального Союза писателей и Конгресса  
литераторов Украины*

# § *Зал переводчика* §



## ПОД ПЕРЕПЛЁТОМ КНИГИ ДВА РАЗНЫХ ЯЗЫКА

Вот уже два года в Internationales Begegnungszentrum регулярно проходят Вуппертальские литкафе, где посетители воскрешают в памяти творчество любимых писателей, общаются с талантливыми немецкими и русскими авторами-современниками, выносят на публику свои стихи, рассказы, бардовские песни.

Недавно по итогам работы Вупперлиткафе был выпущен двуязычный сборник «На перекрёстке культур» / «An der Kreuzung der Kulturen» (составитель Владимир Авцен). В нём приняли участие германские литераторы – члены Бохумского литобъединения – замечательный поэт, драматург, эссеист (она же редактор немецких текстов) Хайде Рик, прозаик Фридрих Гротьян, поэт и прозаик Моисей Борода, а также известные русские литераторы из Франции – поэт Виталий Амурский, прозаик Николай Боков и живущие в Германии поэты Даниил Чкония, Марина Гершенович, Татьяна Ивлева, прозаик Генрих Шмеркин, бард Владимир Туриянский, детский поэт Вадим Левин... Всего – 33 автора.

О сути сборника, в котором главное место занимают параллельные переводы с русского на немецкий и с немецкого на русский языки, образно и точно сказано поэтом и переводчиком Евгенией Комаровой:

*Под переплётом книги  
Два разных языка  
Перевились, как нити  
Двух разных ДНК.*

*Ольга Зуськова*

Владимир АВЦЕН  
Volodymyr AVTSEN

## Попытка утешения

*Романс*

Любимая, не плачь,  
не то ноябрь разбудишь –  
дохнёт на город наш  
дождями и тоской.  
Он нынче тих и добр.  
А что меня не любишь,  
так это ведь для слёз  
не повод никакой.

Что делать, если нам  
отмерены судьбою  
неравный срок любви  
и долгий – нелюбви?  
Что делать, если нам  
намечено с тобою  
такую жизнь прожить?  
Что делать? Се ля ви.

Ну вот, я так и знал  
по окнам дождик лупит,  
по веткам ветер бьёт  
размашисто и зло.  
Что ж делать, если тот,  
другой, тебя не любит?

Любимая, не плачь,  
нам всем не повезло.  
Опавшая листва  
с годами прахом станет,  
настанет час и мы  
вот так же опадём.  
Не плачь. Ещё на век –  
на твой и мой – достанет,  
о чём погоревать  
и порознь, и вдвоём.

## Versuchte Tröstung

### *Romanze*

*(Deutsche Übersetzung: Melitta Neumann)*

Geliebte, weine nicht,  
Sonst weckst du den November.  
Noch ist er nicht so grau,  
Ist mild und herbstlich bunt.  
Und dass du mich nicht liebst,  
Das können wir nicht ändern.  
Für Tränen, glaub mir, ist  
Das kein ernster Grund.

Die Liebe ist nur kurz,  
Doch lang ist die »Nicht-Liebe«  
So lang ist diese Zeit,  
Es scheint, sie endet nie.

Was soll's, wenn dieses Los  
Uns beiden ist beschieden.  
Geliebte, weine nicht,  
Don't worry; c'est la vie.  
Nun sieh! Ich hab's geahnt,  
Da kommt auch schon der Regen –  
Schlägt an die Scheibe hart  
Und trommelt auf das Blech.  
Wenn jener andre Mann  
Dich auch nicht liebt, deswegen,  
Geliebte, weine nicht:  
Wir hatten alle Pech.

Das abgefallen Laub  
Verwelkt und wird begraben.  
Es dauert nicht mehr lang,  
Dann sind auch wir so weit.  
Doch weine nicht, noch nicht:  
Wir beide werden haben  
Für Tränen später Zeit,  
Ob einzeln, ob zu zweit.



*Фото Виктора Харика*

*Ирина АЛЬТМАН*  
*Trina ALTMANN*

*Из Эльзы Ласкер-Шюлер*  
*(Перевод с немецкого Ирины Альтман)*

## Сфинкс

Сидит он вечерами у моей постели,  
И послушанием ему полна моя душа,  
И в тихих сумерках моей дремоты  
Блестят его глаза, узки, как нити,  
Что ловко сонную в свой лабиринт ведут.

И рядом вышитая скатерть  
Шуршит нарциссов лепестками,  
Их цепкий аромат касается подушек –  
И в снах моих цветут еще  
Его здесь поцелуи.

Но улетает лунатичка в облака,  
Моя же слабая Психея,  
Борясь, противясь, снова силу наберет,  
И исцелит меня Земля  
Дыханьем теплым лета.

*Else Lasker-Schüler*

## **Sphinx**

Sie sitzt an meinem Bette in der Abendzeit  
Und meine Seele tut nach ihrem Willen,  
Und in dem Dämmerlichte, traumesstillen,  
Engen wie Fäden dünn sich ihre Glanzpupillen  
Um ihrer Sinne schläfrige Geschmeidigkeit.

Und auf dem Nebenbette an den Leinennähten  
Knistern die Spitzenranken von Narzissen,  
Und ihre Hände dehnen breit sich nach den Kissen,  
Auf dem noch Träume blühen aus seinen Küssen,  
Wie süßer Duft auf weißen Beeten.

Und lächelnd taucht die Mondfrau in die Wolkenwellen  
Und meine bleichen, leidenden Psychen  
Erstarken neu im Kampf mit Widersprüchen,  
Und meine Seele heilt in Erdgerüchen,  
Die sommerheiß aus ihren Poren quellen.

Вениамин БЕЛЕРШТЕЙН  
Veniamin BELERSHTEYN

*Из Пауля Целана  
(Перевод с немецкого Вениамина Велерштейна)*

**Фуга смерти**  
*Памяти жертв Холокоста*

Чёрное Молоко Раннего Утра мы пьём его в вечер  
мы пьём его в полдень и в утро мы пьём его в ночь  
мы пьём его пьём  
могилу мы роём в ветрах, лежать чтоб в ней было не тесно  
В доме проживает мужчина что играет со змеями пишет  
он пишет лишь станет смеркаться в Германию  
твой волос золотой Маргарита  
напишет он это и выйдет из дома и звёзды мерцают  
он псов своих свистом зовёт  
он свистом своих сзывает евреев  
чтоб копали могилу в земле  
он приказ отдает нам играть вступление к танцу

Чёрное Молоко Раннего Утра мы пьём тебя ночью  
мы пьём тебя в утро и в полдень мы пьём тебя в вечер  
мы пьём тебя пьём  
Там в доме мужчина что играет со змеями пишет  
он пишет лишь станет смеркаться в Германию  
твой волос золотой Маргарита  
Твой волос цвета золы Суламифь мы роём могилу в ветрах  
лежать чтоб в ней было не тесно

Он кричит нам этим вгрызаться в земельное царство  
другим нужно петь и играть  
железным прутом из-за пояса вынутым  
замахнётся на нас и видно  
у него голубые глаза  
эй вы глубже втыкайте лопаты а вы вы играйте  
играйте музыку для танцев

Чёрное Молоко Раннего Утра мы пьём тебя ночью  
мы пьём тебя в утро и в полдень мы пьём тебя в вечер  
мы пьём тебя пьём  
в дому проживает мужчина твой волос золотой Маргарита  
твой волос цвета золы Суламифь он играет со змеями  
Он нас призывает играйте же слаще о смерти  
ведь смерть – из Германии мастер  
он нас призывает играйте мрачнее на скрипках тогда  
превратитесь вы в тающий в воздухе дым  
да будет в облаках вам могила в ней будет не тесно лежать

Чёрное Молоко Раннего Утра мы пьём тебя ночью  
мы пьём тебя в полдень смерть – из Германии мастер  
мы пьём тебя в вечер и в утро мы тянем и тянем  
смерть из Германии мастер у него голубые глаза  
он пошлёт в тебя шарик свинцовый и попадёт неизбежно  
мужчина проживающий в доме твой волос золотой Маргарита  
он своими нас травит псами воздушную нам дарит могилу  
он играет со змеями и мечтает смерть – из Германии мастер

твой волос золотой Маргарита  
твой волос цвета золы Суламифь



Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts  
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends  
wir trinken und trinken  
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen  
Er ruft spielt suesser den Tod der Tod  
ist ein Meister aus Deutschland  
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr  
als Rauch in die Luft  
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Schwarze Milch der Fruehe wir trinken dich nachts  
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland  
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken  
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau  
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau  
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft  
er spielt mit den Schlangen und traeuemet der Tod  
ist ein Meister aus Deutschland

dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith

Марина ТЕРШЕНОВИЧ  
Marina GERSHENOVICH

## Встреча

О.Б.

Течением река на одичалый плёс  
выносит мелкий сор и щепочки, и перья.  
А домик твой стоит – как ветер не унёс –  
с единственным окном и скошенной дверью.  
От сырости порог сосновый почернел,  
на кровле дранки нет, лишь хвоя да солома.  
Мне хочется сказать, что есть всему предел...  
Но в этот самый миг выходишь ты из дома,  
мой ропот на судьбу и затаенный вздох  
опередив своим безмолвным появлением.  
Должно быть, за тобой присматривает Бог.  
И, верно, за свое спокоен Он творенье.  
И сосны, и река, и облачный простор,  
и ты, что создана из глины или пены, –  
все это вплетено во временный узор  
дареного самой природой гобелена.  
Покуда нить судьбы твоей не извлечет  
из полотна Господь, ты будешь Им хранима.  
Неспешная река колеблется, течет  
к тебе и сквозь тебя,  
и нас с тобою мимо...

## Begegnung

*Für Olga Borissowa*

*(Deutsche Übersetzung: Erich Ahrndt)*

Des Flusses grüne Strömung in der öden Bucht  
spült Späne an und Federn – Unrat, wie wir's nennen...  
Dort steht dein Häuschen – wann weht es der Wind zu Bruch? –  
mit einem einz'gen Fenster nur und schiefen Wänden.  
Die Harzholzschwelle ist vor Feuchte schwarz und matt,  
das Strohdach – denn an Schindeln fehlt's – hat arg gelitten.  
Ich murmle schon, dass alles eine Grenze hat,  
in dem Moment kommst aus der Türe du geschritten.  
Noch eh ich das Geschick beklag – mein Herz ist schwer –  
stehst vor dem Haus schon du mit deinem Schweigen lange...  
Dich muss behüten, glaub ich, und bewahren Gott der Herr.  
Ihm ist um sein Geschöpf, so sieht es aus, nicht bange.  
Die Fichten und den Fluss, die Wolken, weit im Blick,  
und dich dazu, dich, die aus Ton, aus Schaum geboren,  
zu einem Teppich flicht es dieser Augenblick,  
von der Natur für uns als ihr Geschenk erkoren.  
Solange deines Schicksals Faden Gott der Herr  
nicht löst aus dem Gewebe, wird er dich behüten.  
Am Ufer sanft sich schaukelnd, strömt der Fluss einher,  
zu dir und durch dich hin, an uns vorbei, vorüber...

Татьяна ШЛЕВА  
Tatiana ШLEVA

\*\*\*

...пятизвёздное кочевье...

В.Р.

Сквозняки пятизвёздных кочевий  
Над песчаным свистят пятачком,  
Выдувая сыновне-дочерний  
Смысл в понятиях: Родина, Дом.  
Здесь искали мы воли и доли,  
Лопоча на чужом языке,  
Рассыпаясь кристаллами соли  
В золотом европейском песке.  
Здесь – во многоязычном смятенье –  
Мы родную коверкали речь,  
Здесь утратили предназначенье,  
Перепутав – что жечь, что беречь.  
Здесь – раскинут шатры бедуины...  
И – где храмы стояли вчера –  
Станут земли подобием глины,  
Станут книги добычей костра.  
Но, сдаётся мне: в проблеске майском,  
Сто иль триста столетий спустя,  
Колокольчиком звякнет валдайским  
В кочевой колыбели дитя.

\*\*\*

*(Deutsche Übersetzung: Valentina Apro)*

*...5-Sterne Nomadenlager...*

*für V.R.*

In dem 5-Sterne-Zelt der Nomaden  
Fegt die Zugluft das sandige Fleckchen,  
Pustet Wörtern wie »Vaterland«, »Haus«  
Ihren Sohn-Kern und Tochter-Sinn raus.  
Freiheit suchten wir hier und Schicksale,  
Kauend hart an der Sprache der Fremde,  
Mischten uns wie die Rohsalzkristalle  
Unter goldenem Sande Europas.  
Hier – Verwirrung der Sprachen und Hemmung,  
Unsre eigene fing an zu bröckeln.  
Hier verloren wir unsre Bestimmung,  
Und vermischten »bewahren« – »verbrennen«.  
Beduinen, schlägt hier Zelte auf –  
Und – wo leuchteten gestern die Tempel –  
Wird die Erde – zu Lehm, öd und brüchig,  
Und zum Opfer des Feuers – die Bücher.  
Doch, mir scheint, dass im Glanze des Frühlings,  
Nach Jahrhunderten – zwei oder drei –  
Mal erklingt aus der Wiege ein Baby  
Wie ein Glöckchen vom fernen Waldaj.

Евгения КОМАРОВА  
Eugenia KOMAROVA

## Искусство перевода

Искусство перевода –  
Шаг через пустоту.  
Искусство перехода  
По шаткому мосту.

Под переплётом книги  
Два разных языка  
Перевились, как нити  
Двух разных ДНК.

Со-знание, со-храненье –  
Двоичный жизни код.  
И, чудом со-творенья,  
Со-плодье – перевод.

Как сердца перебои  
Влюблённых – в унисон,  
Искусство перевода –  
В чужой проникнуть сон.

О, перевоплощенье –  
Опасная игра!  
Всегда ли возвращенье  
Возможно до утра?

Пока петух не крикнул,  
Пока горит свеча,  
Плутать по лабиринту,  
Заклятия шепча,

Блуждать в иной вселенной  
Непрошеным, как тать,  
И душ переселенье  
До-словно понимать.

## **Die Kunst des Übersetzens** *(Deutsche Übersetzung: Heide Rieck und Eugenia Komarova)*

Die Kunst des Übersetzens  
Kühn der Schritt über die Leere.  
Die Kunst des Über-setzens  
Auf schwankendem Steg.

Zwischen den Buchdeckeln  
zwei verschiedene Sprachen,  
verwoben wie die Fäden  
zweier blutfremden DNAs.

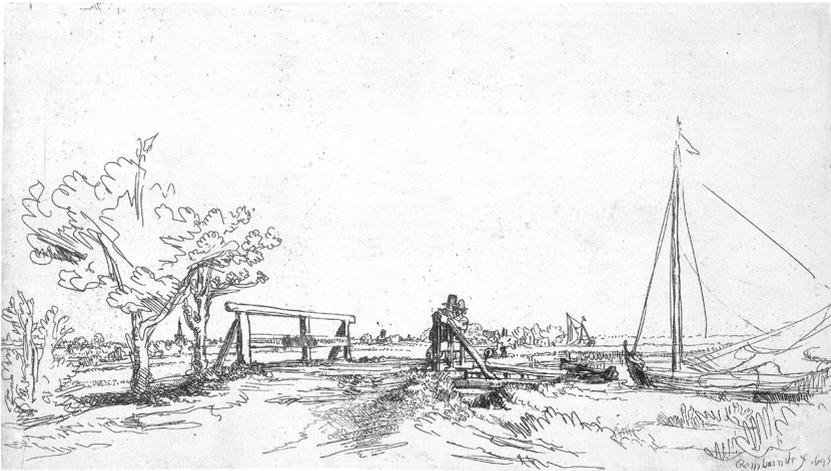
Im Einvernehmen das Hüten  
eines dualen Schlüssels,  
mit dem nur wird geöffnet  
die Schatztruhe – die Übersetzung.

Gleich dem Pochen und Stammeln  
von Herzen Verliebter in Harmonie  
die Kunst des Übersetzens:  
ein Traum gemeinsam träumen.

O, Reinkarnation –  
gefährliches Spiel!  
Ist Rückkehr wohl möglich  
noch vor dem Morgengrauen?

Solange der Hahn nicht kräht,  
solange die Kerze brennt,  
irren im Labyrinth,  
Verwünschungen murmelnd.

Schweifen im Kosmos des Anderen  
ungebeten wie ein Dieb,  
und Wort um Wort erahnen  
den Geheimkode seiner Seele.



*Рембрант Харменс ван Рейн. «Мостик Сикса», 1645.*

Вадим ЛЕВИН  
Vadim LEVIN

## Глупая лошадь

Лошадь купила четыре калоши –  
пару хороших и пару поплоше.

Если денек выдаётся погожий,  
лошадь гуляет в калошах хороших.

Стоит просыпаться первой пороше –  
лошадь выходит в калошах поплоше.

Если же лужи по улице сплошь,  
лошадь гуляет совсем без калош.

Что же ты, лошадь, жалеешь калоши?  
Разве здоровье тебе не дороже?

## Silly Horse

*(Перевод на английский:  
Татьяна Зунштайн и Таня Вольфсон)*

A horse has four shoes with black rubber soles.  
Two of them new, but the other have holes.

If the weather is fair, no rain on the news,  
The horse likes to wear her best pair of shoes.

When the first wave of snowflakes whirls in the air  
She goes home to change to a worn-out pair.

When it's muddy or icy, and folks slip and slide  
The horse still goes out, but the shoes stay inside.

Silly horse, don't be concerned for a shoe!  
Isn't your health more important to you?

Heide RIECK  
Хайде РИК

## meine kinder

wie reich ihr  
jeden tag mir freude schenktet

wortblumen  
glockenblumen schaukeln drachen sonnen  
des käfers flug in eurem lachen

meine kinder

neu  
öffnete die welt mir damals ihre tore

ihr zogt hinaus  
heiße

meine kinder

dem sturm getrotzt und proben bestanden  
heiße  
der grat ist erreicht  
weiter und immer schneller  
die luft wird dünn  
das dach bricht ein  
das wasser steigt

wann  
meine kinder  
wird euch die kleine blume wieder blühen

## ДЕТИ МОИ

(Перевод с немецкого Евгении Комаровой)

как щедро дарили вы мне  
ежедневно радость

колокольчики слов  
колокольчики на лугу качели воздушные змеи солнце  
в вашем смехе полёт жука

дети мои

вновь  
открывал тогда мир мне свои ворота

вы разъехались  
эгегей

дети мои  
в штормах устояли  
и все испытанья прошли  
эгегей  
достигли вершины  
и дальше и всё быстрее  
воздух всё разрежённой  
и рушится крыша  
вода поднимается выше

когда же  
дети мои  
опять расцветёт для вас маленький скромный цветок

Michael STARCKE  
Михаэль ШТАРКЕ

## landeinwärts

landeinwärts  
treffe ich sie wieder  
die buschwindröschen  
meiner kinderzeit,  
die kerzen der roten kastanie.

von grenzen wusste ich nichts  
und konnte nicht fahrradfahren.  
beides kam später  
wie auch der abschied  
von manchen träumen.

der himmel war gespannt  
wie ein blaues netz  
und kein langweiliger größenwahn  
das trockene gleißen des sommers.

keine verzerrten darstellung  
entsprach das schöne gefühl  
von frieden, angemahnt  
und beschworen im abendgebet.

heute, nachdem die erinnerung  
an die stille zu verblassen droht,  
ist sie das heimweh nach dem ort,  
an dem ich  
von dieser welt sein durfte.

## возвращаясь назад

(Перевод с немецкого Евгении Комаровой)

возвращаясь назад  
я снова встречаю  
анемоны,  
цветы моего детства,  
и свечи красных каштанов.

я тогда ничего не знал о границах  
и не умел ездить на велосипеде.  
всё это пришло позже  
как и расставанье  
с некоторыми мечтами.

небо тогда казалось  
натянутой голубой сетью.  
и никакой докучной мании величия  
только сухой блеск лета.

чудесное чувство гармонии,  
ещё ничем не искажённое,  
выплаканное и выпрошенное  
в вечерней молитве.

сейчас, когда память  
об этом покое грозит поблекнуть,  
я погружён в ностальгию  
по этому месту,  
где я мог быть от мира сего.

# Лев БЕРИНСКИЙ

Акко

## ЖИЗНЬ И СЧАСТЬЕ SUB ARIES – ПОД ВЛАСТЬЮ ОВНА



Хайнер Мюллер, немецкий драматург и художественный руководитель театра «Берлинер Ансамбль» после Бертольда Брехта, вспоминал, как тот, стоя перед каким-то спектаклем где-то на самом верху, говорил собеседнику, продолжая тему состояния дел в немецких театрах и тыча вниз пальцем в зрителей, уже входящих в партер:

– Пенис – вульва. Пенис – вульва. Пенис – вульва... Понимаете, это беда – в театр у нас ходят парами.

Парами, в начале прошлого столетия, было модно в России ходить и в литературу: Гумилев – Ахматова, Мережковский – Гиппиус, кто-то поразнообразней: Маяковский – Брик – Брик. Позже ходить стали стаями: Пролеткульт, РАПП, а еще позже – бандами: маргиналы, концептуалы...

Первую книжку стихов Сары «Разговор с ящером» («Gespräch mit dem Saurier», 1965), совместную с мужем Райнером Киршем, я прочел, купив в замечательном по тем временам магазине «Дружба», и подумал, что слишком, в поэзии

во всяком уж случае, они разные. Литературное разъединение произошло довольно скоро, вместе с распадом семьи... С тех пор Сара Кирш в немецкой поэзии, как и в женской судьбе – не то что одиночка, но сама по себе. Так проще противостоять и жизненным, и культурным поветриям в эпоху, когда самый романтичный герой – перебежчик, шпион или киллер, а грошовой певичке приносит всемирную славу прозрачное TV-бикини. Романтичность у Сары Кирш – дама аскетическая и ядовито-едкая, и «башня» её – не кости слоновой, а – бревенчато-камушковая, да и не над Рейном повисла на скалах, и даже не среди златокупных лесов их германской поленовщины, а вполне на вид хмурых смоленских болот, но в башню эту – попробуй незванный кто сунься...

Надо признать, что в той первой супружеской книжке на меня большее впечатление произвели стихи Райнера, а не Сары, и потом я время от времени что-нибудь еще из него читал и переводил – «Сильветта в кресле», «Севан», «Реглиндис» (ах, сорок с гаком годков спустя помню еще: «Реглиндис, твои волосы длиннее греха, а за радостью будет грусть. На живот ей упали еловые иглы, и травинка – на белую грудь...»). А вот Сару прочел я после той книжки... в 93-м (но зато и перевел сразу 40 стихотворений).

В семидесятые, после выезда из ГДР – в знак протеста против лишения гражданства известного барда Вольфа Бирмана – в Советском Союзе Сара стала неупоминаемой, ни книг ее, ни публикаций в журналах не встретить было. Да и никто не стал бы издавать такие стихи:

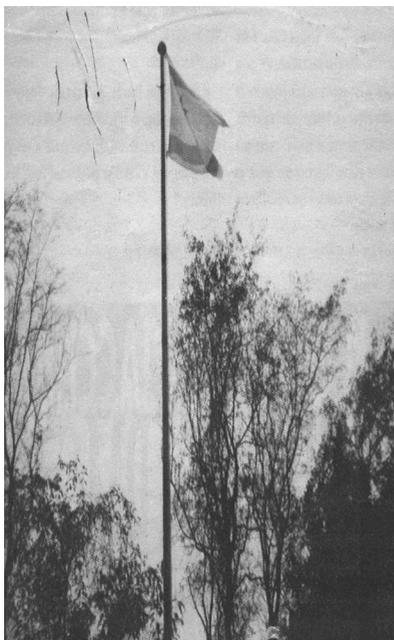
## Снег черный в городе моём

*Снег чёрный в городе моем.  
Собаки в копоти, грязи.  
В шезлонгах мягких развалясь,  
Расселись люди в этот час  
И тёплый хлеб едят.*

На крышах голуби галдят,  
 Любой сарай для них приют –  
 Там гнезда будущие вьют  
 И, клювом выдернув перо  
 Из крыльев, – в цель суют.  
 Я в чёрной шубе выхожу.  
 Собаки шаг мой узнают  
 И тихо воют, и ведут  
 Меня туда, где белый снег  
 На кладбище еврейском лёг.

«*Der Schnee liegt schwarz in meiner Stadt*»

Настоящее и полное её имя – Ингрид Хелла Ирмелинде Бернштайн, а псевдоним «Сара» она выбрала в 1960-м – из протеста против истребления при нацизме евреев и как бунт против отца-антисемита, к тому времени, впрочем, уже несколько лет покойного.



В первый приезд к ней, в октябре 93-го, я, спустившись с шоссе, издала увидел на высокой мачте – выше крыши и нависшей, казалось, приземистой тучки – израильский флаг, кой воздела Сара в ожидании гостя. А до этого, еще в мае, так мне в Акко писала: «Отзвук твоей прекрасной страны, чудесные ее цветы все еще в моей памяти. И когда я слышу о «происшествиях», это бьет меня сразу по печени, рвет сердце, потому что я знаю теперь, я видела, какая она там узенькая, Иорданская эта долина...»

Иорданскую эту долину Сара увидела в марте 93-го, сразу по окончании 2-го Иерусалимского фестиваля поэзии, где мы с ней и познакомились. Я тогда в общую поездку участников по Израилю не поехал, а Саре не стал объяснять почему. Даже я в тот раз, два уж года как гражданин страны, осерчал: в какой-то программке фестиваля, где стояло, к примеру: «Шунтаро Таникава – Япония», «Далья Равикович – Израиль», я прочитал «Лев Беринский – идиш»...

Жила Сара в Тиленхемме одна, сын Моритц учился в Киле, на отделении фризского языка, что не удивить не могло: фризов в Германии, включая и жителей островов, около 16 тысяч. Перспективы? Сара, когда я спросил об этом, невесело усмехнулась: «В небогатстве вырос, по всему видать, в бедности жизнь проведет... А вот глянь-ка ты лучше, тут вышла недавно первая его публикация, по-моему, хорошая проза. Нет, не перевод из их фольклора, чем он в основном занимается, это он сам, свое написал!»

И вот тихим рендсбургским вечером открываю журнал «Litfass», №56, и вижу в оглавлении: стихи Сары Кирш, рассказ Моритца Кирша и... поэма Геннадия Айги. Ага, значит не выдумал Серке...

О симпатиях Сары к Айги и чуть ли не видах на него рассказал мне общий наш приятель Юрген Серке, журналист и эссеист, к тому времени об Айги написавший (позже и обо мне) и очень Саре сочувствовавший после недавнего тогда ухода от нее композитора N.N., с которым она прожила семнад-



цать лет. Композитор был много младше её – я познакомился с ним в Иерусалиме, куда он приехал на фестиваль с Сарой, а сразу по возвращении из Святой Земли в их Тиленхемме (Tielenhemme) собрал свои рубашки со сподним и ноты и навсегда сбёг в Берлин. И то сказать, кому в том сельце посреди бескрайних болот, с населением около 150 жителей (13 человек на км<sup>2</sup>), было слушать его музыку – соседским коровам на торфяных выпасах, шести домашним овцам с бараном на подворье и собственному же через дорогу на бугристом берегу Айдера ослику? Не забыть: был еще большой пес, шестнадцатилетний. И двадцать семь роз под окнами, такие трогательные в ее в стихах...

На первый вопрос невзначай об Айги я ей, не будучи сторонником его поэзии и ажиотажа вокруг, ответил что-то невнятное, а в другой раз на заброшенную удочку поживил ее рассказцем о нашем с ним выступлении (вместе с Иваном Ждановым и не помню еще кем-то с «русской» стороны) на творческой встрече в Москве с приехавшими из Франции пятью или шестью поэтами, году, думаю, в 88-м. Каждый из выступавших читал на своем языке, а затем следовал перевод – соответственно – на русский или французский. Айги читал на русском и не захотел почему-то прочесть что-нибудь «в оригинале», как просил пожилой некий их высокочтимый метр. Случилась заминка, французы обескуражились... Когда подошел мой черед, я прочел что-то на идиш и уступил место Шарлю Добжинскому, он привез с собой переводы. Не знаю, были ли, в свою очередь, разочарованы русские поэты тем, что – ни в оригинале, ни на французском – ничего из того не поняли, что я там пробебежал. Думаю, им наплевать было, и только Геннадий обиделся на меня, счел не в меру высокомерным...

Сара выслушала эпизодец, в нужный момент усмехнулась и... никогда больше про Айги не упоминала. Умна она не менее, чем талантлива.

Не знаю, насколько можно доверять литературно-«испорченному телефону», но вот что знакомый мне по Москве

с 65-го года поэт и переводчик Вячеслав Куприянов пишет в статье «МИФ ОБ АЙГИ, или О ВЕРЛИБРЕ»: «В Бонне знакомлюсь с известным журналистом Юргеном Серке. А, русский поэт, – восклицает он, – вот Геннадий Айги – грандиозный поэт! Я наивно спрашиваю, чем грандиозен Айги. Журналист объясняет: у него такое французское лобби!»

Да, на Юргена это похоже. В искусстве его как журналиста интересовала хлесткость факта (хотя изредка он проявлял и утонченный эстетизм, как, например, в его мини-эссе о еврейской символике воды, написанном для моего немецкого издания поэмы «Рендсбургская миква»). Серке, к примеру, поведал мне, а потом я и в каком-то их старом суплементе прочел, как он, в свое время трудясь в знаменитом журнале «Штерн» и публикуя там свои интервью с писателями (к примеру, с Вацлавом Гавелом), репрессированными у себя на родине, отправился однажды через океан в Кавендиш, штат Вермонт, раздобыл телефон Солженицына, позвонил, все подробно и уважительно объяснил, но услышал в ответ полсекундное «Нет!» и отбой коммутатора. В первый раз в своей практике на такой нарвавшись отлуп, он однако не растерялся, нанял вертолет и со своим фотографом покружил-поснимал сверху 20 огороженных гектаров солженицынских, а в большом репортаже рассказал обо всем этом немецким читателям.

*С Юргеном Серке.  
Презентации  
поэмы  
«Рендсбургская  
миква».  
Любек, 1994*



Юрген способен был абсолютно серьезно, весной 95-го, рассказывать жуткие страшилки про румынскую киношную мафию в Берлине, а в подтверждение напроситься в гости со мной к их «крёстному», где я очутился в почти нище обставленной полуторакомнатной съемной квартирке, за шатким столиком с парой бутылок вина и вскоре намокшей в нем на подносике брынзой. Молодой парень с неплохим немецким и его жена совсем без немецкого, но зато с младенцем на руках, обрадовались случаю поботать на рудной базарно-липсканской фенюшке – а после стакана-другого хозяева вздыбились оба чуть ли не матерно позорить меня за то, мол, что я в 60–80-е переводил их «социалистических поэтов», когда же я спрашивал, что «социалистического» находили они, к примеру, в поэзии Дана Лауренциу или Вирджила Мазилеску, или Мирчи Кэртереску, то оказывалось, что имена эти они слышат впервые. Бедные, озлобленные проголодью эмигранты...

Сам я – с подачи Сары – семь месяцев жил тогда, впервые стипендиатом в Германии, в Рендсбурге, километрах в двадцати-тридцати севернее ее хутора, получил студию в довоенной синагоге, а ныне еврейском музее, где она и навещала меня, приезжая из того сельца за покупками, а то иногда и я к ней наведывался – пролетным автобусом или подсев к подобравшему меня в свой ляйхтваген Юргену, добиравшемуся к ней из неблизкого Гросхандсдорфа под Гамбургом. Помню наш втроём её день рождения 16 апреля 94-го: с вечера – в Тиленхемме, ночью – вдоль Айдера и потом переправой в какую-то княйпу, оттуда – весьма основательно посидев – в Рендсбург, а утром – в замедленных раздумьях о где же все же оставленном ее весеннем пальтишке и с найденным все-таки моим паспортом – в холодильнике...

Мой-то день рождения мы отметили шумной гурьбой дней десять до этого «Bei Uwe» в Рендсбурге, а Юргену еще предстояло 19-го, у него уже дома...

Вот так, все трое – апрельские, куда уж счастливей – под Agies'ом, как подумаешь – во власти Овна...

После предательского бегства композитора Сара осталась среди тех болот баскервильских одна. Нет, она, конечно, и в Р.Е.Н'е, и в иных писательских объединениях (в Эльза-Ласкер-Шюллер-гезельшафт, к примеру), с коллегами-литераторами общительна, весела, дружелюбна. Раньше других не покинет застолья и присловьице выдаст после всех «prosit!», если даже и нет вокруг русских: «Без водки ноги – две колодки», в память о ГДР-овской своей юности и сибирских гостеприимных просторах. Сара может «как девчонка» пропрыгать на одной ножке по брусчатке вдоль улицы, может к вечеру в сумерках, отставив чашку кофе на подоконник, вдруг доверительно тайну открыть: «Знаешь... Я ведь многим с тобой делюсь, про что с нашими не обмолвилась бы... Это правда, на свои пятьдесят девять я никак не тяну... Но день, когда мне шестьдесят хлопнет – будет последним с вами, – с Хайо, с Юргеном, с другими, с тобой. Так я решила. В урочный час им всем объявлю, а тебе по секрету сейчас сообщаю, а то уедешь и знать не будешь, а потом обижаться, может, расстраиваться станешь, и не дозвониться до меня будет, не дописаться...

Я слушал в потемках и ощущал на губах прилипшую улыбку неверия, но душа, похолодев, уже знала: так будет...



«Bei Uwe».  
6.4.1994

Нет, не под старость возникший Айги вконец сжег её сердце, а еще раньше выжег страсть у нее и вкус к жизни некий «Блондин», как она назвала его, выковыряв из корочек аусвайза его карточку: молодой иноземец, ангелок, над духом её измывавшийся...

## Дон Жуан прибудет ещё до обеда

*Дон Жуан прибудет ещё до обеда  
о чём он меня известил телеграммой заставив  
призадуматься я-то ведь было Луну  
запланировала себе и фонтаны но оставалось  
мало времени успеть бы ещё подвести  
глаза чтоб казались большими и вымыть ноги.  
Я стала у въезда в город я его увидела  
в развевающемся плаще на гоночном велосипеде  
белый шарф взлетал над плечом и всё ближе  
раскрытые губы и этот глубокий взор я спросила  
зачем же вот так спозаранку ах впрочем  
понятно ведь позже  
рандеву с какой-нибудь кралей.  
Ах что заглупость он поставил велосипед  
прислонив его к воздуху наискосок снял с себя шляпу  
и положил нас обоих в траву что вокруг  
всё пышней расцветала и уже привлекала  
птиц садящихся робко из металла коробка  
запевала Моцарта это я знаю  
он сказал и это и все прочие какие бывают  
записи и системы Шенберга и  
сейчас я буду тебя и всё будет прекрасно.  
«Don Juan kommt am Vormittag»*

Жила Сара со своим разнопородным стадом в бывшей школе – большом деревянном доме на просторном дворе, купленном некогда вот именно что композитора ради: музыка, как

тому по молодости представлялось, не терпит суеты. Пушкин тоже знал об этом, но был немца мудрее...

Как-то раз, задержавшись за чаем вечерним, я остался там на ночь и ушел на мансарду. Наглядевшись с той верхотуры на – чёрные на чёрном – болота и не зная, чем занять душу и тело, включил свет, взял со стола черный фломастер и огромными буквами начертил на белой стене:

***HIER SCHLIEF EIN JUDE !***

В мой следующий к ней приезд, в ноябре 94-го, пса-великана уже не было, помер. Овец тоже не было. Не было и осла. Бессловесная кошка сидела в углу с недоумением в глазах: а этот – кто?

Сын Моритц всё еще учился в Киле, на водительские права Сара всё еще не сдала (пересдачи потом длились года три). Несколько раз довелось мне тогда поучаствовать в парных с ней и более расширенных «Lesung'ах» – встречах с читателями, да и на более представительных писательских форумах, и всегда эти чтения давались ей нелегко. Она слишком – посреди суеты, хотя и необходимой «живота ради», чтобы жить продолжать, – ощущает течение времени, струйку сыплющегося песка...

*А уж последний был от Сары привет –  
книга «Vodenlos», сборник лирический  
к 60-летию поэтессы, под Овном в звёздной судьбе.  
И стоит тот рогатый Баран,  
на взгрок взобравшись космический –  
и над всем нашим солнечным эйнсофом  
раздается счастливое «бе-э-э...»*

*Акко, август 2009*

# БАРДКУД



## СТИХИ И ПЕСНИ

Анатолий ОДИНОКОВ

Рига

*Родился в Новосибирске. Детство, отрочество, юность и начало молодости провёл в Екатеринбурге. Тогдашнем Свердловске. После окончания школы поступил на радиотехнический факультет в рижский институт инженеров гражданской авиации, который благополучно закончил. В период рабочей деятельности занимался автоматизацией и робототехникой. В пору молодости активно занимался музыкой... Играл, пел, был звукооператором. Серьёзно заниматься стихотворчеством начал уже в зрелом возрасте.*

### Я ЗАПЛАЧУ́ ЗА ВСЁ...

\*\*\*

А есть ли, в самом деле, кущи рая?  
 Волнует тема с некоторых пор.  
 И кто из претендентов попадает?  
 А вдруг и там естественный отбор?

Тогда скажу: с моей ли постной харей  
 У Господа прощения просить,  
 Поститься и не пить, чтоб влезть в дендрарий?  
 Поди-ка, фейсконтроль на небеси.

И вряд ли говорливые потомки  
Прочтут мои нехитрые стихи.  
Богатства не имею, а в котомке –  
Болячки, недостатки, да грехи,

Да сверху затаянувшиеся раны.  
Ни титулов, ни званий громких нет.  
Я знаю, что мне рай не по карману,  
И потому держусь за этот свет

С его неправдой и дороговизной.  
Похожий на растение во всём,  
Усердно врос корнями в почву жизни,  
В её недружелюбный глинозём.

Меня и жгут, и дёргают, и топчут,  
Но я от воплей жалостных далёк.  
Живу, корнями уцепившись в почву,  
И вверх тяну упрямый стебелёк.

## Я заплачú за всё

Жизнь, бают, как в такси: чем дальше, тем дороже.  
Но каждого из нас по-своему везут.  
И каждого из нас пугает мысль до дрожи:  
Неужто где-то вдруг закончится маршрут?

Так что ж ты, Командир, застрял на перекрёстке?  
Осталось проскочить, небось, один квартал.  
Не то чтоб я спешил, имея график жёсткий –  
Но ждать и догонять везение устал.

Ну что там впереди:  
Обвал?  
Ремонт дороги?  
А может, вздорожал бензин на небеси?  
Да, ладно, Командир! Не напрягайся. Трогай.  
Конец у всех один. Куда-нибудь вези.

Вези меня. Вези налево, или вправо.  
Иль думаешь, что жмот, сбегу, не заплатив?  
Я вовсе не стремлюсь проехать на халяву,  
Но утомился ждать счастливых перспектив.

А я платил всегда за ужин в ресторане,  
Халдею отстегнув, не жлобствуя, на чай.  
Платил за колбасу, платил за пиво в бане.  
Я заплачú за жизнь. Ты не переживай.

Я заплачú сполна: за ветреную юность,  
За гонор молодой, за радость и печаль,  
За беспокойный нрав, за опыт и за мудрость...  
Я щедро расплачусь – нисколько не жаль.

Платил я за любовь и за проезд в трамвае,  
За всё, что повидал на жизненном пути.  
Не потому что свят и жил мечтой о рае –  
А понял, что за всё приходится платить.

Приходится платить. Никак нельзя иначе –  
У каждого из нас котомка по плечу.  
А хочешь, командир, возьми вперёд. Без сдачи.  
Поди, недалеко. Что спросишь – заплачú.

## Я пью весеннее бухло

Меня, подружка, не ищи,  
Друзья, родные, не ищите.  
Покинув душную обитель,  
Я пью сегодня, как ямщик.

Под звонкий птичий граммофон  
Пью, согреваясь и хмелея,  
В трактире парковой аллеи  
Голубоватый самогон.

Сбежав незримою тропой  
От размышлений о юдоли,  
Как безнадежный алкоголик,  
Ушёл в неистовый запой,

И, обстоятельствам назло,  
С пофигистической ухмылкой,  
Из малахитовой бутылки  
Хлещу весеннее бухло.

## Снегири<sup>1</sup>

Воздух морозный так пахнет арбузами...  
Резво снуёт торопящийся люд...  
А снегири мандариновопузые  
На подоконнике крошки клюют.

Быстро прошли новогодние праздники,  
Жизнь в никуда помаленьку течёт...

---

<sup>1</sup> Песня Андрея Кравцова на эти стихи:  
<http://www.realmusic.ru/songs/1094579>

Клюйте, родимые, клюйте, проказники...  
Дядя не жадный – насыплет ещё...

Мне, как и вам, неприятно и холодно.  
В эти крутые январские дни  
Вдруг почему-то припомнилась молодость,  
Память листаю, как старый дневник.

Встречи, свидания, очи прекрасные,  
Пряди волнистые, розовость щёк...  
Клюйте, забавники, клюйте, проказники...  
Дядя не жадный – насыплет ещё...

Так вот и нас кто-то сильный и добренький  
В будни холодные свёл визави,  
С неба бездонного на подоконники  
Щедрой рукою насыпав любви.

Не посягаю, за любовное крошево  
Не упрекнул и не выставил счёт:  
Клюйте, товарищи, клюйте, хорошие...  
Дядя не жадный – насыплет ещё.

## Разведённые мосты

В полночный час задремавших проспектов,  
Притаившихся скверов и улиц пустых  
Спит натруженный люд, а расчётливый некто  
Нажимает рычаг и разводит мосты.

Знаю, это для нужд судоходства резонно,  
И сюжета для драмы как будто бы нет,  
Но в бессонную ночь вид мостов разведенных  
Непонятную жалость рождает во мне.

Приуслышатся нотки вселенского горя  
В полусонном, размеренном плеске волны,  
Примерещится, будто два берега в ссоре  
И не чувствуют собственной в этом вины.

Разобижен один и не склонен к общению,  
Опечален другой и упрямо молчит,  
А причины обид и дурных настроений  
Глубоко-глубоко прячут в мрачный гранит.

Есть у каждого мыслей настырных орава,  
И железное кредо, и каменный нрав.  
Существуют два берега – левый и правый,  
Размышляя угрюмо: кто больше неправ.

Не знакомы обоим раскаянья муки,  
Не известен бальзам задушевных словес,  
И, увы, не друг к другу протянуты руки,  
А в бескрайнюю высь равнодушных небес.

## Зелёный островок

Ну сколько можно плыть, на вёслах горбя спину,  
Лавируя меж скал, надсаживать пупок,  
От жажды изнывать, питаться солониной,  
В надежде отыскать зелёный островок?

Чтоб гладкий бережок, чтоб пальмовые гривы,  
Чтоб падал иногда кокос или банан,  
Чтоб ковриком трава без жалящей крапивы  
И ноздри щекотал цветочковый духман.

Я с ранних лет привык довольствоваться малым,  
К удобствам бытовым особой тяги нет.

Стояло бы в теньке просторное бунгало,  
А метрах в двадцати приличный туалет.

С утра бы размышлял и сочинял нетленки,  
По краешку воды бродил, задрал портки,  
А вечером встречал челнок с аборигенкой,  
Приплывшей поиграть у свечки в поддавки.

Да, много ли затей простому счастью нужно:  
Чтоб в небо поутру выныривал рассвет,  
Зелёный островок, бунгало, и подружка,  
Немножечко винца и хлеба на обед.

### **Скушай яблочко, милашка...**

Скушай яблочко, милашка, зубки в бок вонзи ему,  
А гаданья на ромашках нам сегодня ни к чему.

Спело брызнет сок сладчайший, и тебе, как малышу,  
Осторожно каждый пальчик поцелуем осушу.

Позабудем о проблемах и делах хотя б на день.  
Если лгут, и нет Эдема, сами сделаем Эдем.

Есть еда, вино в бутылке, а застенчивость твою  
Отогрею страстью пылкой в однокомнатном раю.

Пусть багряным перламутром губы сладкие горят.  
Разбираться будем утром, где – амброзия, где – яд.

Что ждёт завтра – скрыто тайной.

Может быть, дорога в ад.

А сегодня пусть витает спелых яблок аромат.

## **Ты любишь не меня...**

Ты любишь не меня... Вот в чём причина  
Того, что улыбаешься во сне.  
А образ идеального мужчины  
Приклеила ошибочно ко мне.

Нет, я не лучший и не идеальный.  
Я, как близнец, подобен всем другим,  
И очутился в полутёмной спальне  
Благодаря видениям твоим.

Мы рядом, но тебе, конечно, снится,  
Что прискакал на белом скакуне  
Придуманный тобой прекрасный рыцарь,  
От страстного желанья опьянев.

И это для него осинкой гибкой  
Волнующе изогнут хрупкий стан,  
К нему, с нецеломудренной улыбкой,  
Нетерпеливо тянутся уста

И жадно ищут, ищут поцелуя  
Идальго, что пригрезился во сне.  
И я тебя немножечко ревную  
К нему... К воображаемому мне.

## Небесные часы<sup>1</sup>

Безрадостные дни, снующие, как мыши,  
И не видать границ у серой полосы.  
Случается, что я ночами внятно слышу,  
Как тикают мои небесные часы.

Работают они в жару и в непогоду,  
И маятник, спеша, отмахивает дни,  
А стрелки все быстрее накручивают годы,  
И в жизненный клубок сплетаются они.

Пуškai часы – не бренд, не «Ролекс» и не «Сейко»,  
И все же без проблем стучат который год,  
Но мне сдается, что садится батарейка,  
А может, у пружин кончается завод.

С годами звук часов стал сильным и негромким –  
Наверно, заржавел со временем металл.  
Хотя бы лет пяток не стерлись шестеренки,  
И старый механизм от ветхости не стал.

Бессмысленно пенять на механизм бездушный,  
Ведь это без него решают наверху –  
Когда настанет срок и вылетит кукушка,  
Чтоб тихо прокрипеть трагическое: «Ку...».

Уставший механизм отправится на свалку,  
И новые часы подвешат на гвозде...  
Чуть позже, а пока небесная гадалка  
От посторонних глаз скрывается в гнезде...

---

<sup>1</sup> Песня Андрея Кравцова на эти стихи:  
<http://www.realmusic.ru/songs/1052424>

## Гора

Сокровенную тайну открою,  
Расскажу о причуде своей:  
Я хочу быть высокой горою  
И стоять до скончания дней.

Чтобы выше – лишь солнце да звёзды,  
Чтоб предгорья – как дачный газон,  
Чтоб вокруг – не отравленный воздух,  
А полезный, чистейший озон.

Чтобы ветер был преданным другом,  
Каждый день разгонял облака,  
Чтоб ни в жизнь ни одна Джомолунгма  
Не смогла посмотреть свысока.

Чтоб не мыться, не есть, не работать,  
Не томить ожиданием грудь,  
Вожделя – скорей бы суббота,  
Дабы выспаться и отдохнуть.

Жить неспешно, вольготно, беспечно,  
Не конфузясь стоять нагишом,  
С наслаждением думать о вечном,  
О разумном, прекрасном, большом.

Не читать ни газеты, ни книжки,  
Не испытывать к знаниям зуд,  
И глядеть, как смешные людишки,  
Суется, копошатся внизу.

Жить, в одно исключительно веря –  
Мои недра не будут пусты,

И однажды в уютной пещере  
Неприменно поселишься ты,

Обустроишь, как домик элитный,  
Запасёшься дровишками впрок,  
Чтоб всегда в моём теле гранитном  
Вечерами горел костерок.

## **Нарядилась в белый цвет сакура латвийская**

Нарядилась в белый цвет сакура латвийская,  
И от снежности в глазах зарябило аж.  
Беззаботно шелестя шёлковыми листьями,  
Рассветила празднично городской пейзаж.

Расскажи, какой судьбой и в какое времечко  
Против воли, вольно ли в чуждую страну  
Занесли тебя ветра любопытным семечком  
Между каменных домов к моему окну.

Расскажи, красавица, с кем мечтаешь встретиться?  
В этом сумрачном дворе псы да вороньё.  
Для какого соловья вёснами невестишься?  
Впрочем, может, ты права – дело не моё...

Белой веточкой в ответ машешь легкомысленно,  
Не решаясь рассказать про свою любовь,  
А по осени в листве, словно слёзы, выступят  
Горько-кислые плоды, алые, как кровь.

## Марина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

### Дюссельдорф

*Марина Белоцерковская родилась и прожила две трети жизни в Днепрпетровске (Украина). Психолог, журналист и тележурналист, игрок днепрпетровской команды «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-Ринг» – восьмикратный обладатель Золотого Брэйна, бард. Лауреат украинских, российских, немецких фестивалей КСП. Стихи и песни печатались в журналах, сборниках и альманахах Украины, Германии, Эстонии, Великобритании, Греции. Сейчас живёт в Дюссельдорфе.*

*Играет на семиструнной гитаре.*

*Пишет песни на свои стихи.*

### СЫН НЕ ЗНАЕТ СЛОВА «ВЬЮГА»...

#### Сын рисует

Сын рисует синим море,  
Сын рисует синим небо,  
Между синевой и синью  
Темно-синий горизонт.  
В эти солнечные десять  
На каких морях он не был!  
Гордо носит, как винтовку,  
Ярко-синий пляжный зонт.

В эти солнечные десять  
Дед мой вряд ли знал о море –  
Дед мой прятался в подполе  
От петлюровских плетей.  
После каждого погрома  
Всё местечко выло в горе,  
И отец его поспешно  
Пересчитывал детей.

Сын рисует красным друга,  
Сын рисует черным друга,  
Посредине между ними  
На песочке он лежит.  
В эти солнечные десять  
Сын не знает слова «вьюга»,  
И не знает слова «голод»,  
И не знает слова «жид»!

В эти солнечные десять  
Мой отец мечтал о хлебе –  
Так, чтоб слопать всю буханку  
У опушки на траве,  
Но видал лишь, как зловеще  
«Мессершмидты» режут небо,  
Как горит звезда Давида  
На дырявом рукаве.

Сын рисует жёлтым солнце,  
Сын рисует рыжим кошку,  
На лиловый колокольчик  
Прилетела стрекоза...  
Он задумался о чём-то,  
Он уставился в окошко...  
И глядят с лица сынишки  
Деда моего глаза.

Сын рисует синим море,  
Сын рисует жёлтым солнце,  
Сын рисует рыжим кошку,  
Сын рисует...

## Сонеты Цурэна Арканарского<sup>1</sup>

1.

Как лист увядший падает на душу,  
Так боль моя ложится на листья.  
Рука легка и помыслы чисты,  
И я путей Вселенной не нарушу.

Но всё ж порой, как океан на сушу,  
Среди земной и грешной суеты  
Сомненья хлещут в мозг из темноты,  
Грозя поэта превратить в кликушу.

Не дай, Господь, поддаться мне страстям,  
Дай силы устоять под бурей рока  
Назло невеждам, сплетням и плетям!

И если уж не избежать порока,  
Не укажи путь к свету по костям.  
Пусть лучше жизнь прервётся раньше срока!

---

<sup>1</sup> Сонет Цурэна — в повести А. и Б. Стругацких «Трудно быть богом»: прощальный сонет, написанный поэтом Цурэном при отъезде из Арканара. В повести приводится лишь его первая строчка «Как лист увядший падает на душу».

«Цурэн Правдивый, изобличённый в преступной двусмысленности и потакании вкусам низших сословий, был лишён чести и имуществва, пытался спорить, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, дважды был смертельно избит патристическими личностями и только тогда поддался уговорам своего большого друга и ценителя дона Руматы и уехал в метрополию. Румата навсегда запомнил его, иссиня-бледного от пьянства, как он стоит, вцепившись тонкими руками в ванты, на палубе уходящего корабля и звонким, молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет «Как лист увядший падает на душу»

С конца 70-х годов «каждый уважающий себя бард» считает для себя нужным дописать сонет Цурэна. Не избежал этого и автор... (Прим. автора)

## 2.

Как лист увядший падает на душу  
И стынет, погребённый пеплом лет,  
Как зимний грой ворон терзает уши  
И гасит сердца тлеющий рассвет,

Так, потеряв надежд последний берег,  
Я ухожу, гонимый, как во сне.  
Быть может, где-то мне откроют двери,  
Чужбина отогреет сердце мне.

Быть может, там, в предутреннем тумане,  
Я отыщу благословенный край,  
А может, завтра мне Господь оставит  
Всего лишь две дороги – в ад и в рай.

Но как, земля родная, не скорбя,  
Мне дальше жить на свете без тебя?

## Март

О, пред-Верие весны, –  
Душ и судеб воскресенье!  
Длительно исчезновенье  
Надоевшей белизны.  
Ах, как эти дни трудны,  
Но уже открыты двери,  
И душа спешит поверить...  
О, пред-Верие весны!

Пред-Надежде весны –  
Безнадёжная надежда,  
Что оставят облик прежним  
Календарные листы.

Но вдали уже видны  
Дней погожих вереницы,  
И душа взлетает птицей.  
Пред-Надежде весны!

Пред-Любове весны –  
Безлюбовная усталость.  
От морозов нам осталось  
Отрицанье новизны.  
И, не пряча седины,  
Прячем взгляд, улыбку, слово,  
Но душа любить готова...  
Пред-Любове весны!

О, пред-Верие весны!  
Пред-Надежде весны!  
Пред-Любове весны!

## Посвящение Анне Бонни и Мэри Рид – капитанам флибустьерских кораблей

*Не дождавшиеся алых парусов  
рано или поздно поднимают черные...*

Семь футов под килем, и ядер с запасом,  
Но мачта разбита и смят такелаж.  
Вы, твердой рукой поправляя кирасу,  
Команду бросаете на бордаж.  
Ах, что ж вас толкнуло, оставив сомненья,  
Поднять паруса и уйти за прибой –  
Погоня за золотом, страсть к приключеньям,  
Большая любовь или тайная боль?

Ах, леди, леди удачи!  
Нелёгкое выпало вам ремесло.  
Погибнуть – пустяк, не погибнуть – задача,  
А если вернёшься – считай, повезло!

Там, в прошлом, остались вязанье и пальцы,  
Органная месса, дворянская честь,  
И жалкий мужчина, целующий пальцы,  
Никак не решаясь сказать всё как есть.  
А что говорить? Всё вы знаете сами,  
Но гордость и кровь не дают отступить.  
И вновь остаётся решение за вами,  
И вы, как всегда, выбираете: «Быть!»

Ах, леди, леди удачи!  
Поверьте, печалиться нету причин –  
Никто вас не ждет, никто не оплачет.  
Ведь право на преданность – право мужчин.

А где-то фиакры, балы, кавалеры,  
Цветут гиацинты, скрипит колыбель...  
Но справа по борту заходит галера,  
А слева бульдогом ощерилась мель.  
Смахнёте со щек вы соленую влагу –  
А брызги иль слезы – не всё ли равно!  
Ещё остаются надежда и шпага,  
И зыбкая грань между небом и дном.

Ах, леди, леди удачи!..

## Бродяга

По утрам на старом рынке  
Он заметен, как никто,  
В древних стоптанных ботинках,  
В ветхом дедовском пальто.  
Звонок хохот, весел голос –  
Всё равно: январь иль май.  
На плече сидит, нахохлясь,  
Разноцветный попугай.

Чем ты, странник, очарован?  
Жизнь живёшь? Играешь роль?  
Бывший дворник? Старый клоун?  
Заколдованный король?  
Превращаешь в лица морды,  
Как в шитьё, в тряпье одет,  
Отворачиваясь гордо  
От протянутых монет.

Пробегают мимо дети  
И кричат ему: «Дурак!»  
Только песня на рассвете  
Глушит боль и гонит мрак.  
И светлеет взгляд и небо,  
И уходят облака.  
И суёт краюху хлеба  
Чья-то добрая рука.

По утрам на старом рынке,  
Где кипит, бурлит толчок,  
Пляшет в стоптанных ботинках  
Деревенский дурачок,  
И ликует, и смеётся,  
Разгоняя миражи...

.....

Остаётся, остаётся,  
Остаётся кто-то жить.

## Седьмой гном

За лесом стоит дом,  
В том доме горит свет,  
А в доме живёт гном,  
Которому триста лет.  
Ткёт эхо, растит цветы,  
Вьёт грезы, хранит тишь  
В том самом лесу, где ты  
В хрустальном гробу спишь.

Не нужно ему семьи,  
Не важен ему успех.  
Последний из тех семи,  
Он помнит еще твой смех.  
Весь в памяти о былом,  
Умён или слишком глуп,  
Склоняясь над спящим лбом,  
Не смеет коснуться губ.

Он знает и ждет того,  
Как вздрогнет в ночи земля,  
Почудится грохот подков,  
Раздастся стон хрусталя...  
А старый усталый гном  
Посмотрит тебе вслед,  
А после войдёт в дом,  
И в доме погаснет свет.

## Посвящение ушедшим поэтам

В мире не хватает простоты,  
Жизнь сложна, но есть ли в этом толк?  
Что ломиться в запертую дверь –  
Дверь открыта.  
Облетают жёлтые цветы,  
Жёлтый шёлк осыпался и смолк –  
Это значит, Мастера здесь нет,  
Маргарита!

Поздно рассветает в декабре.  
Над тобой не лебеди – грачи.  
Что же ты впервые перед тьмой  
Оробела?  
Может, одеваясь на заре,  
Солнце перепутало лучи,  
Или Блад ушел за горизонт,  
Арабелла?

Можно спать в уюте и тепле,  
Можно след оставить на земле,  
Но навстречу ветру, облакам и рассветам,  
Рано или поздно, но всегда  
Птицы улетают от гнезда,  
Отдавая души морякам и поэтам.

И в стремленье к перемене мест  
Хоть зови удачу, хоть лови,  
Только завтра снова будет так,  
Как и прежде...  
Расплескался в небе Южный Крест,  
Сердце замерзает без любви,  
Остаётся якорная цепь  
И надежда.

## Александр УЩЕНКО Билефельд

*Поэт-нигилист и бард-дебошир. Родился в 1973 году в Саратове. Фельдшер скорой помощи.*

*Соруководитель детской экологической экспедиции «Родники» (Ульяновск).*

*Участник творческой ассоциации «Барджа» (Саратов – Нижний Новгород). Лауреат 2 Канала Грушинского фестиваля. Член жюри фестиваля «Часовые пояса» (Самафа). Организатор «Детской площадки» Вуппертальского слета. Участник театральных проектов «Московские кухни» и «Parallele Welten». Автор стихов, песен, литературных эссе и критических статей.*

### ТАЛАНТА БУЙНОГО И ЛЕНИ КОМПРОМИСС...

*Из «Античных мотивов»*

#### Лавровый лист

Большой кувшин вина и мрамора прохлада,  
Скамья в тени, на фоне моря кипарис...  
И сверхусилия прикладывать не надо  
К перу, когда к губе прилип лавровый лист.  
Не красноречья утонченная приправа  
И не забава, не случайно так повис –  
Он скромный символ вдохновения и славы,  
Таланта буйного и лени компромисс.

Сомненьям места нет. Эмоциям нет меры!  
Ты – эталон, Эллада! Равных нет тебе!

Очаровательная родина Гомера,  
Архитектуры мировая колыбель!  
Здесь сочно пишется, здесь чувствуется пряно!  
Хмельною влагой брызжут звуки из души!  
И, несмотря на возраст, хочется упрямо  
Писать и пьянствовать, молиться и грешить!

И в возбуждении подсматривать из чащи,  
Дрожа от сладостных фантазий и надежд,  
Как пред купанием достойно, но изящно,  
Гречанки медленно лишаются одежд...  
И, наблудившись, после пить вино из меха,  
Иссохнув в знойной пантомиме страстных поз –  
Нагим уснуть, не слыша блеющего смеха  
Лукавых пастухов и полудиких коз.

Кто в профиль грек, тот грек едва – наполовину.  
Реальный грек, не тратя сил на пустыки,  
На женщин глядя, может сам себе за спину  
Взглянуть без риска изувечить позвонки!  
Кто липкий зной найдет изысканней мороза,  
А стать Эдипу земляком почтет за честь,  
Кто жаждет блуда, вдохновенья и цирроза –  
Езжайте в Грецию, ведь в Греции все есть!

\* \* \*

Ты ставишь полную корзину  
Дары богам  
Ты видишь странную картину  
Боса нога  
А шаг назад левой немного  
Не далее  
Лежит покинувшая ногу  
Сандалия

И прядь изящною ладошкой  
Убрав со лба  
Ты чуть раскосо глянешь кошкой  
В глазах мольба  
Но приподнимутся лукаво  
Губ уголки  
Ах это так забавно право  
Ах пустяки

Ты без случайностей дошла бы  
И хорошо  
Когда б не распустился слабый  
Тот ремешок  
Когда бы ты меня минуя  
Шла не таясь  
Позволь ступню твою босую  
Обую я

Позволь тяжелую корзину  
Нести твою  
Рукою чувствовать лозинный  
Руки уют  
Ах Ника Грецию и дале  
Пройдем пешком  
Я вечный раб твоих сандалий  
И ремешков

\* \* \*

Своих почти случайных встреч  
Постигну смысл  
Когда ее коснется плеч  
Тень кипариса

И паруса широкий жест  
Намек не скроет  
Она из тех далеких мест  
Что за кормою

Акцент причудлив но учтив  
Глаз черен мрамор  
Она сюжет моей почти  
Античной драмы  
Слов лести хрупкая слюда  
Подтекст – иное  
Она приехала сюда  
Чтоб стать женою

Упрямство твердое в руках  
(«Кусочек» лаком)  
Счастливой быть наверняка  
Ей третьим браком  
Жених известен и богат  
Не подступиться  
Но и ему точить рога  
И грызть копытца

Когда среди прибрежных трав  
Она нагая  
Шелка скользнувшие с бедра  
Переступает  
Изящной дерзостью ноги  
Поправ при этом  
Капризные черты богинь  
Тела атлетов

Когда видна со всех сторон  
В пустых руинах  
Она одна промеж колонн  
Проходит мимо

Нам смертным не дано понять  
Какие чувства  
Следы сандалные хранят  
На смальте тусклой

\* \* \*

Звенела бронза плеч покатых,  
Густых волос вскипал поток,  
Скоропостижные закаты  
На миг сменялись темнотой.  
И небо выгибало спину  
Тугой сверкающей дугой,  
Лицо к зениту запрокинув.  
Ты раздувала в нём огонь.  
Громы, крошась, роняли стрелы,  
И ливнем проливался зной,  
Желаньем наполняя тело,  
Что зрело ягодой хмельной.  
Сухие губы осыпались,  
Бессмысленный отринув стыд,  
И, обнажённой просыпаясь,  
Ты – не смущалась наготы,  
Грудь – птицей в пальцах трепетала,  
Грозой метался сердца стук,  
И стонов горные обвалы  
Срывало эхо в темноту,  
И звёзды падали, ослепнув,  
Спеша под ноги пылью лечь,  
И мёдом выступало лето  
Из пор звенящей бронзы плеч.

## Неаполитанский полдень

В ладонях площади фонтан – зарос травой...  
Трава густа, в траве, устав, – уснули двое...  
Зной переполнил полдень злой голубизной...  
Июль, Италия, Неаполь – ни что иное...  
Печаль остра, тонка рука, быстра тревога...  
Как локон мраморный покат... Глади – не трогай!..  
Июль – приют без очага и без порога...  
Да тишина, что рассказать могла б о многом...

Как жить им браком – не седея головою,  
Держать собаку и детей любить обоих,  
На площадь в пятницу гулять их брать с собою,  
Туда, где мраморный фонтан зарос травой...  
Жужжит часов зажатый жук в ладони влажной...  
Что было и что будет, вдруг – уже не важно...  
Текут столетья, на глазах у добрых граждан  
Спешат те – двое – утолить друг в друге жажду...

Сушь, жажда, полдень, нагота, прах да руины...  
Дороги гравий да моста изгиб змеиный...  
Залив в заплатках парусов – до половины...  
Недлинный, невесомый сон любви невинной...

## Юлии Феликс. Помпеи. До востребования 1

Всех одежд – два витка металла  
на лодыжке – (срамное золото!)...  
Извини, я пришел усталым.  
Там, за городом, было холодно.  
Полон раковин-загогулин  
Берег. Сырость и нездоровье...

Не уверен теперь, смогу ли  
Мифа стать твоего героем я.

Брось, не дуйся! Мне, право, жалко...  
Не царапайся кошкой дикою!  
Лучше просто вели служанке  
Подогреть нам вина с гвоздикою,  
Пусть жаровню поставит... В угол –  
Кресла синие из триклиния.  
Мы с тобой поглядим на угли  
Ароматом звенящей пинии.

Ну а позже, тобой упрощен,  
«Марциала – из» я припомню текст,  
Ты ж, смеясь, станешь бить в ладоши  
И кружить в наготе по комнате,  
И неведомо, тем кружением  
Очарованный, устою ли я?  
По изяществу обнажения  
Равных нет тебе, Феликс Юлия!

## Юлии Феликс. Помпеи. До востребования 2

Сокрытый в чаше бронзовый треножник  
Курильницы – кумира-божества,  
Что призвано сберечь и приумножить  
Достаток твой, приветствую! Листва,  
Волнуема Вольтурном... Смугловаты  
В саду рабыни дразнят наготой,  
С корзин роняя спелые гранаты,  
Смеются. И уже почти готов  
Плодом упасть в ладонь созревший вечер –  
Насыщена теней голубизна...

Знай, Юлия! Скульптурно-безупречен  
Твой римский профиль (вынужден признать) –  
Особенно в вечернем тонком свете...  
Будь Цезарь – я б твой образ повторил  
Чеканкою на золотой монете,  
И видят боги, что монеты эти  
Навеки осчастливили бы Рим.

\* \* \*

Узнан – ты! Раб, гостей приводящий сюда,  
Мне шепнул настоящее имя.  
В метрополии я не была никогда,  
Расскажи мне, сенатор, о Риме.

У твоих так завидно ухоженных ног  
Я устроюсь на шкурах лежанки.  
Расскажи мне о Риме, откуда вино  
Принесёт из подвала служанка.

О коварстве, о тайнах порочной любви,  
О воздействии слухов и ядов,  
Что столица хранит за оградами вилл  
От провинций назойливых взглядов.

Я б услышать желала, как зла и слепа,  
Но послушна движению брови,  
Над «ареною Флавиев» стонет толпа,  
Вожделея не хлеба, но крови.

Я б хотела увидеть, как падает тень,  
Вслед за солнцем вращаясь незримо,  
Тень колонны конца и начала путей,  
Направляющих в Рим и из Рима...

Но напрасно я жду, речь твоя не о том.  
Просьб не слышишь моих, и, похоже,  
Ты, сенатор, о преньях сенатских готов  
Дискутировать даже на ложе!

Говоришь, обещал не оставить в беде  
Неимущих своих Император?  
Августейшего вижу и так каждый день,  
Лик его принимая в оплату.

Негодует, что Двор утопает во лжи,  
А обжорство пиров надоело?  
Удались, отрекись, полномочья сложив,  
Подучив, я возьму тебя в дело.

Если спорна мораль, станет наверняка  
Впредь достоин пример подражания.  
Я ж, быть может, тем самым прославлюсь в веках,  
Взяв сенатора на содержанье!

Что ж умолк ты, с простёртой застынув рукой?  
Чем смутил разум женщины скудный?  
Не забудь: мы в провинции, Рим – далеко,  
Здесь речами прославиться трудно!

Нелегко, безответно отчизне служа,  
Преуспеть и в любви, и во власти,  
Коль не в силах империи славы стяжать,  
Взыщешь лавры достойные в страсти...

Вот и наше вино!.. Древним вслед повторим:  
«Славься, Цезарь!» Но будь осторожен...  
Выпьем, стоя, сенатор (не смейся!), – за Рим!  
За любовь? Выпьем позже... и лёжа!



Виктор ПОЖИДАЕВ  
(1937–2006)

*Виктор Пожидаев провёл детство в Воронежской области на маленькой станции Евдаково. Окончил скульптурное отделение художественного училища имени Грекова. Многие годы работал на Ростовском комбинате прикладного искусства художником-керамистом.*

*При жизни выпустил книгу «Жесты света» и сборник трех авторов «Перевал». Посмертно изданы книги «На уровне сердца» и «Мой тихий дом».*

## ДАВАЙ ДОГОНИМ ЖИЗНЬ

Стихи должны быть авторизованным переводом с языка души. И даже когда душа молчит – это не значит, что её нет. Это просто неслышимый голос её растворяется в шуме торопливых и шумных дней. Услышать и понять её человеку помогает природа, в которой каждое проявление жизни – это новый воскресающий мир.

Вопросы «как?», «что?», «зачем?» волнуют людей, усомнившихся в своей вечности.

*Виктор Пожидаев*

\*\*\*

...И памяти о нас  
Уже не будет.  
Начнут звучать  
Другие имена,  
Но тем же самым  
Будут бредить люди,  
Чем бредили  
В иные времена.  
Небесной недоступностью  
Покоя,  
Земным богоявлением  
Любви...  
И тем ещё,  
Чем бредят над рекою  
Черёмуховой ночью соловьи.

\*\*\*

И на излёте пуля – это пуля.  
Стреляем вверх, а падает на нас...  
В России вроде снова все уснули  
И, как всегда, в неподходящий час.

Нас всех во сне глубоком переплавят  
На новый лад, на новые ряды...  
Нас внуки проклянут, а не прославят,  
Не отличив победы от беды.

Уже давно содеяна повозка,  
Что повезёт людей из ада в ад,  
Где всё сгорит быстрее свечного воска,  
И в этом я, как всякий, виноват.

\* \* \*

Мне кажется, что ты ещё придёшь,  
Что ты во мне свою судьбу забыла.  
И будет бить косою холодный дождь  
По мостовой зазубренным зубилом,  
И будут дымоходы клокотать,  
Захлёбываться будут водостоки.  
Я буду забывать и вспоминать  
Распуганные непогодью строки.  
И будет ночь ворочаться в саду,  
Как старая медведица в берлоге...

А я к тебе навстречу не иду  
От страха разминуться по дороге.

\* \* \*

По осени такие дни бывают,  
Как детские ладошки на просвет...  
Душа мотив любимый напевает  
И сердце не сжимают кольца лет.  
Как будто всё в природе изначально,  
Как будто завтра вишни зацветут...  
Но у своих скворешен так печально  
Сидят скворцы и песен не поют.

По всей земле – узорчатая охра.  
День тает, как пахучий стеарин.  
Цветёт сентябрь калачиками в окнах  
Да синими снопами сентябрин.

Такою только в зрелости бывает –  
Многозначимой – графика ветвей...  
То вспомнит вдруг, то снова забывает  
Природа голос юности своей.

## Утро в степи

В поседевшем за ночь ковыле  
Кобылица оранжевой масти  
Струи гривы роняет во мгле  
Вне бессмертья, вне жизни, вне власти.

Над курганом восходит заря.  
И свои подожжённые стрелы  
Мечет бронзовый скиф сентября  
В полонённые охрой пределы.

Степь былая, прощай навсегда...  
Мы не братья твои и не дети!  
И не наше наследство – звезда,  
Растворённая в утреннем свете.

Разувериться в жизни легко...  
Степь долги свои летние платит.  
Всё, что рядом здесь – так далеко,  
Что добраться и жизни не хватит.

## Летний сон

Тени веток вечер расплетает,  
Словно гриву чёрную коня.  
Тишина душистая, густая  
Наполняет медленно меня.

На душе спокойней с каждым вздохом,  
Всё длинней кузнечиковый скрип,  
Тихо гаснут на посёлке окна,  
Но никто в домах ещё не спит.

Думаются медленные думы  
О заботах завтрашнего дня...  
Небеса медовым светом лунным  
Растворяют в вечности меня.

Подуставший мир угомонился,  
Сновиденья звёздами зажглись...  
Мне сегодня чёрный конь приснился,  
Подошёл ко мне, остановился  
И сказал: «Давай догоним жизнь!»

.....

Не к добру, я знаю, снятся кони...  
Вот уж в окнах утра малахит,  
А в ушах звучит: «Давай догоним!..»  
И следы по саду от копыт.



Сюй Бэйхун. «Конь»

## Антон МУХА (1928–2008)

*Композитор, музыковед, профессор, доктор искусствоведения. Вполне достаточно, чтобы имя киевлянина Антона Ивановича Мухи вошло в историю украинской культуры... Но, как известно, талантливый человек талантлив во всё. Антон Муха был прекрасным знатоком русской поэзии и сам писал стихи. В его литературном архиве остались остроумные посвящения друзьям и коллегам, лирические и юмористические строки, любопытные стихотворные эзерсисы... К своему литературному творчеству он относился с иронией и даже не помышлял о публикациях, но мы решили предложить читателям несколько стихотворений, чтобы познакомить их с ещё одной гранью этой яркой личности.*

Светлана Куралех

### Покаяние

Сколько слёз и обид, сколько трудностей, бед и лишений  
Мне пришлось перенести на тернистом житейском пути!..  
Я был ржавым звеном в бесконечной цепи поколений,  
Цепь распалась на мне. О, сын нерождённый,  
о пращур далёкий –  
Прости...

### Совет

О милом, сладостном, быллом  
Не вспоминайте с завистью:  
Грустит ли яблоко о том,  
Что прежде было завязью?..

## Шарик

Затерялся шарик в глубине небесной.  
И кому он нужен – маленький и тесный?  
Звёзды и планеты проплывают мимо,  
Путь извечный держат строго, нерушимо.  
И на Шаре строги к выбору дороги  
Партии и классы, нации и расы.  
Где-то слёзы льются, где-то дом пылает, –  
Шарик по орбите знай себе летает.  
А потом остынет, жизнь исчезнет, значит.  
Кто её осудит? Кто её оплачет?..

## Этюд

*Шёпот, робкое дыханье ...*

*А. Фет*

Жили жулики железно, жрали, как жлобы,  
(Без пол-литра бесполезно беспокоить лбы!)  
Кралю крали, дролю драли, без гроша греша.  
Распивали, распевали. Эх, дыши, душа!  
Стол столкнули, «стилем», в сторону стакан!  
Струны с треском застонали, страстно стиснут стан.  
Дева – диво, словно слива, груди – груд грядя!  
Нежно ниже ножкой нижеет. Нет, вот это да!  
Рока бреки, крики, трюки, руки в брюки, ах!  
Стонут стены, стыннут вены, дрожь в тугих ногах!  
Рыжий в рожу режет в раже, дёрнулся, дурной!  
Лёжа в луже, лижет лажу корешок кирной.  
Ад, Бедлам, Вертеп, Гоморра, Дебри, Ералаш!  
Жутко. Зрелище Измора, Как Лихой Мираж!  
Неприличьем Опозорив, Прячется Разврат.  
Сотни Тайных Уговоров Фонари Хранят.  
Целый Час Шумят Щенята, Ъ (мягкий), Ъ (твёрдый), Ы.  
Эти Юркие Ягнята  
Спрячут все следы.

## Моя молодость

(читает прославленный автор-старец)

Молодой! Красивый! Интересный!  
 Я по главной улице иду.  
 Улыбаюсь девушке прелестной,  
 Завожу знакомство на ходу.  
 (Дальше как? Забыл!.. Опять заело!  
 Ох уж мы, поэты-старички...  
 Глаз слезится. Лысина вспотела.  
 На носу не держатся очки...)  
 Значит, так: красивый, как Эль Греко,  
 Я – влюблен! Я чувствую беду!!  
 Ночь!!! и «Улица. Фонарь. Аптека».  
 За лекарством я туда иду.  
 (И уходит, шаркая ногой и ища рецепт.)



Оноре Домье. «Между 11 часами и полночью». 1844.

## Георгий БУРАВЧУК (1946–2006)

*Родился в городе Ананьев Одесской области. По образованию инженер-механик, закончил РИСХМ. В последние годы жизни работал электросварщиком. Выпустил семь книг стихов и прозы, один из авторов сборников «Перевал» и «Перекрёсток». Состоял в Союзе российских писателей.*

\* \* \*

Непонятна она, беспричинна  
эта тёмная хищная страсть,  
колдовство, наговор, чертовщина...  
Но – и замысла высшего часть.

В кабале этой странной каббалы  
возникает дичайший союз,  
где мешки, сундуки и чувалы  
заодно с грозной музыкой муз.

Даже крест не спасает нательный,  
коль в крови твоей жгут и гудят  
этот искус искусства смертельный  
и его тицианистый яд.

\* \* \*

И всё – о России: глобально, умно, исторично,  
С молитвой, что сроду не ведал, антихристов сын,  
С любовью сыновнею, голосом в меру трагичным  
И в зелье хмельном, как всегда, омочивши усы!  
Слова, словеса... И тотчас оправданье готово,  
К тому ж и блеснуть эрудицией лишний предлог,  
Что ж, очень возможно, в начале и впрямь было слово.  
Одно! И – у Бога! Но ты ж, слава Богу, не Бог?!

И хватит витать в эмпиреев заоблачной сини,  
Спускайся на землю, здесь дел уже неупорот!  
И если помочь ты так жаждешь любимой России,  
Старухе соседке возьми и вскопай огород.

\* \* \*

Окраины простоволосой  
люблю негромкую красу.  
Пичуги здесь звонкоголосей,  
в садах деревьев – как в лесу.

И как задумано – всех выше:  
людей, сараев и домов.  
И небосвод не застыт крыши,  
и горький дым костров – медов.

Он стелется к земле поближе,  
сутулится, совсем как я,  
среди домов, заборов рыжих,  
тихонько в небо уходя.  
Не город будто, а деревня,  
неспешен день и воздух тих.  
И обнажённые деревья  
куда прекрасней тел нагих.

\* \* \*

Возлюбленная непогода –  
то тучи, то дождь проливной.  
У этого времени года  
столь странная власть надо мной.  
Намокли крылечка перила,  
в костре  
остывает зола...

Мне осень тебя подарила,  
и осень тебя забрала.  
А сердце почти и не ропщет,  
что мы с ним остались одни.  
Мертвеет душа, словно роща  
в пустые ноябрьские дни.

\* \* \*

Из сердца вон – и с глаз долой!  
И фотоснимок – на кусочки! –  
Так ты разделалась со мной,  
решительно поставив точку.

Случайно глянула в окно...  
Там, в сумасшествии метели,  
кочки, упавшие давно,  
ещё летели и летели...

И в этот день из года в год  
кусочки порванного фото,  
как будто это снег идёт,  
из тучи будет сыпать кто-то.

Напоминаньем обо мне  
среди жизни  
суетного рынка.  
И вдруг, сложившись из обрывков,  
мои черты мелькнут в окне...

Ты выйдешь... может, хлеба купишь...  
Чуть прогуляешься пешком  
и на лицо моё наступишь  
широким зимним каблуком.

\*\*\*

*Максимилиану Волошину*

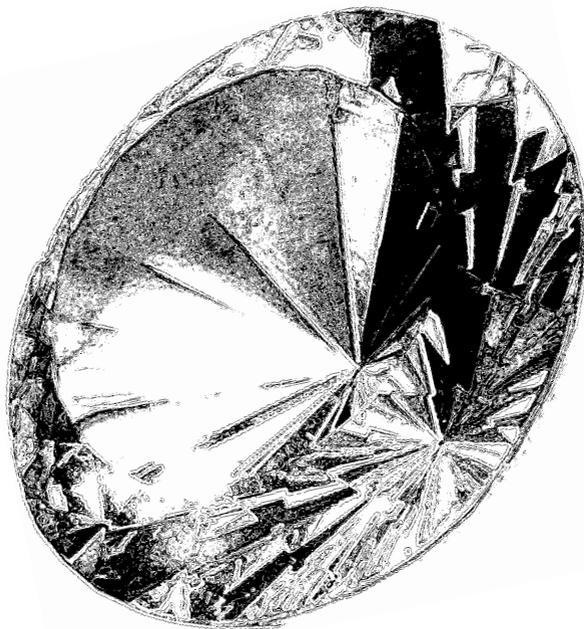
Берегом моря бреду... Галькой округлой и гладкой  
Тешатся волны, а в них ловит мальчишка кефаль.  
Крепкие кремни гремят... как-то тревожно и сладко.  
Странно волнует всегда зыбкая водная даль.  
Вот уж и мальчик ушёл. Вечер. Немного усталый  
Я возвращаюсь домой и уношу свой улов:  
Если бы твёрдыми столь не были камни, пожалуй,  
Море бы так никогда их не скруглило углов.

\*\*\*

Вдруг вспомнил просто так, случайно, наугад:  
был вечер... и окно, распахнутое в сад.  
Покой и тишина. Петунья и табак.  
И сумерки... ах, да, и ходики – тик-так.  
Всё это – лишь во мне. Об этом – никому!  
Зачем же я пишу, и вспомнил почему,  
что пятьдесят? пятьсот? пять тысяч лет назад  
был вечер и окно, распахнутое в сад?



*Лёд  
и пламень*



# Алиия ФОГЕЛЬЗАНГ

Лёррах

## ТАКОЙ ОНА МНЕ ЗАПОМНИЛАСЬ

*Марина Кравцова (1959–2005)*

Общим в нашей жизни было то, что по Судьбе нам пришлось уехать из России, где начинался жизненный путь. Да, конечно, такие шаги делаются «добровольно», но бывает, что ответственность перед близкими в таких решениях играет главную роль:

*Я ухожу, как в добровольный плен,  
За теми, кто не уйти не мог...*

Так, ещё до пересечения рубежа чувствуешь, что огромная часть душевных сил тратится на **преодоление**. Что выбрать во спасение? Чуткая душа не упустит подсказки. Марина начала писать стихи именно в пору подготовки к большим жизненным переменам – так запомнилось мне из нашего общения. Познакомившись, мы с Мариной поняли, что большой опорой и спасением для нас обеих были сёстры Цветаевы.

Любовь к волшебной силе слова, к стихам, сёстры Цветаевы и «место жительства – после родины» – вот что объединяло нас.

Поэт, как никто другой, чувствует Божественный замысел и, следуя главному закону мироздания – закону метаморфозы – через слово открывает нам тот замысел в стихах по сюжету, выбранному им одним.

*Стихи – ведь это тоже форма жизни,  
Почти такая же, как бабочка, как лист.  
Упругим сжатием строка повиснет  
На вздох листвы, на эхо грома опираясь.*

Поэт в переводе на немецкий – Dichter, dichten в переводе с немецкого – ткать. По сути, творческое наследие поэта – гобелен, им сотканный. Так поэт создаёт картину жизни в стихах.

Передо мной – большая часть творческого наследия Марины Кравцовой: три небольших сборника, издания разных лет («Московский рабочий», Россия) и четвёртый, вышедший в Германии в издательстве «Robert Vugau». Последний сборник – часть не только Маринойной, но и моей жизни.

Вот как пишет об этом издании Валентина Синкевич (Филадельфия, США):

*«Маятник», вышедший в новом столетии, охватывает трехлетний период (1998–2001) сравнительно недолгого ее (М.К.) пребывания на Западе. Стихи Кравцовой в этой книге более значительны, чем в предыдущих, включая поэтические подборки, появлявшиеся в зарубежных периодических изданиях, – «Новый Журнал», «Встречи», «Русская мысль». («Новый журнал» 2002, № 227).*

Прежде чем рассказать, как получилось, что Марина посвятила мне последний сборник, приведу цитату из статьи М. Цветаевой «Световой ливень». В отклике на книгу Бориса Пастернака «Сестра моя жизнь» Марина Цветаева пишет: «О доказуемых сокровищах поэзии Пастернака (ритмах, размерах и пр.) скажут в своё время другие – и, наверное, не с меньшей затронутостью, чем я – о сокровищах недосказуемых. Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность Жизнь».

Вот и я хочу сказать: я не специалист в поэзии, но Жизнь во всех её регистрах – от начала до конца – моя специальность, и вовсе не в переносном смысле этого слова, нет! Я работала с маленькими детьми, позже пришлось работать с подростками, а потом десять лет сопровождала пожилых людей на последнем отрезке жизни, и не одному из них, уходящих за Вечный Предел, тепло моей руки было последним утешением.

...Всё началось в 1997-м году. Нет, пожалуй, раньше, когда в 1994-м году Марина Кравцова на одном из своих сборни-

ков надписала: «Незнакомому читателю от автора». В Болшево, в книжном киоске музея Марины Цветаевой, я сразу отличила его от других – тоненький сборничек в 47 страниц ждал именно меня. Сотрудник музея сказал – между прочим – что Марина Кравцова к тому времени уже жила в Германии, в Кёльне.

«Разведённые мосты» – так называлось это издание. На обороте обложки – фотография. Молодая красивая женщина с грустной улыбкой. Взгляд – вдаль, в сторону. Читателю с этим взглядом не встретиться... Но во всём облике чувствуется обещание открытия. Именно открытия жду, покупая маленькие сборнички: там всегда 1-2 стихотворения, которые – настоящие жемчужины!

Сотрудник музея тактично выждал необходимое мне для встречи со сборничком время и спросил, не соглашусь ли взять небольшую посылочку для Марины, обрадовался моему согласию. Так нас свела Марина Цветаева. Разве могло быть иначе? Марина Кравцова была знакома и довольно долго общалась с сестрой Марины Цветаевой, Анастасией Ивановной – это было темой, которая свела один из разведённых мостов в Мариной жизни. Позже я поняла, что **разведённых мостов** было немало...

Получив посылочку, Марина позвонила мне, чтобы поблагодарить за привет из Болшева, спросила разрешения звонить и впредь – так мы два года говорили, не видевшись. Это были частые длинные взаимообогащающие беседы. Свершалась важная часть моей и Мариной жизни.

Имена сестёр Цветаевых – пароль, по которому безошибочно узнаёшь судьбинное.

Со временем начала нашего общения совпадает дата написания стихотворения (14.10.97), которое передаёт картину Мариного внутреннего состояния в этот период:

*Вечно волоком, волоком  
Себя из дома в дом.  
А хочется по облаку  
Мне облаком пешком.  
Не за ничтожной надобой  
Вдоль торсов фонарей,  
А равною по радуге  
Скользить и таять в ней.*

*Не вездесущей патиной  
Вне календарных мет  
Останусь обязательной  
Я для земли, как цвет  
Тоски, как повесть осени,  
Как рвение низин  
Колосьями, колосьями  
В несбыточную синь.*

Названные ли мною тогда имена и города, названия цветаевских мест, где её помнят, дали выход боли в это стихотворение?

Одна из тем наших разговоров: как получилось, что мы здесь, в Германии, кто мы здесь, как непросто находить силы для преодоления и чем это всё закончится? Ах, эти преодоления...

*Увы, и впереди и сзади –  
Лишь разведённые мосты,  
Течение времени не сгладит  
В застывшем взгляде пустоты.*

*Костёр России спрятан в омут  
Твоих расширенных зрачков,  
Как нам себе ответить, кто мы  
В приюте чуждых берегов?*

*Мы против ветра и течений,  
Своей же воле вопреки,  
Как каскадёры на арене,  
Но без страхующей руки.*

*Жонглируем не нашим словом,  
По-детски путаем надеж,  
Когда встает кустом терновым  
Тень невозможности надежд.*

*Лишь горстка пепла или пыли  
В твоей ладони, что ладью  
Неузнанной в толпе застыла,  
Не зная, как срастись с толпой.*

(«Эмигранты»)

Марина рассказывала, что её потрясло умение нескольких её знакомых приспособиться к жизни здесь. Это были дамы – все столичные жительницы – с хорошим образованием. Поскольку Германии не пригодился опыт и знания – в таком количестве! – приезжих по всем «линиям», многие совместили труд ради хоть каких-то денег с удовлетворением потребности хоть как-то «пошиковать», и уж если теперь приходилось мыть полы, то ездили в казино, благо голландская граница недалеко.

«И меня зовут, – говорила Марина – уверяют, что понравится... Не знаю, сомневаюсь как-то... Чистят пёрышки, радуются, ждут этих дней, едут такие нарядные, утверждают, что всё это похоже на перемещение в другие миры. Ставки делают на какие-то 10-20 марок<sup>1</sup>, но вокруг – блеск, игра в полном смысле этого слова!»

Бессмыслица такой растраты, не востребованность – вот, пожалуй, что больше всего тревожило Марину. Но не было во

---

<sup>1</sup> Это было в до-евровые времена!

всех её многочисленных вопросах за время наших бесед отчаяния, которое сковывало тогда многих переселенцев – такое осталось у меня чувство.

*Никто из нас не мог иначе,  
Сюда попали, как в окоп...*

*Век уходил уже со сцены,  
Как надоевший трагик-миф.  
Судьба раскачивала стены,  
Не изменяя свой курсив.*

*Мы приживалками в Европе  
Чего-то ждали от неё...*

Мы много говорили **просто о жизни**. Иногда Марина читала мне старые стихи. Сейчас, когда листаю сборники, вижу в стихах отголоски наших бесед, слышу её вопросы, **голос** её слышу.

Есть у меня такое чувство, что в стихах до конца 1999 года больше ощутимо предметное – груз, сдерживавший полёт её мысли, что этого в стихах было больше, чем ей того хотелось бы: хоть и не складывала она крыльев, оторваться от земли не было сил. А эфир манил. О, как сильно манило её **непредметное**, то, что **по ту сторону!** Думаю, что Марина была мне рада не только потому, что со мной она могла говорить обо всём жизненном, но потому, что со мной она могла говорить ... о смерти.

О смерти как грани:

*...Я для земли как цвет  
Тоски, как повесть осени,  
Как рвение низин  
Колосьями, колосьями  
В несбыточную синь.*

Мне очень хотелось увидеть Марину Кравцову. Мысль о поездке в Кёльн мне, не переносящей больших городов, была нестерпима, и я стала заманивать Марину, пустив в ход ... стихи Марины Цветаевой:

*Ты, кто муку видишь в каждом миге,  
Приходи сюда, усталый брат!  
Всё, что снилось, сбудется как в книге –  
Тёмный Шварцвальд сказками богат! ...*

(«Сказочный Шварцвальд», М. Цветаева)

Марина медлила, вспоминая цветаевские опасения «не-встреч» в жизни.

Настало время сказать об особенности места, где я тогда жила – это оказалось важной составляющей в сумме тех обстоятельств, которые обусловили возможность появления «Маятника», последнего сборника Марины Кравцовой.

Город Вайль ам Райн находится в так называемом «углу трёх стран» – там сходятся границы Германии, Франции и Швейцарии. Известное высказывание М. Цветаевой: «*Во мне много душ. Но главная моя душа – германская. Во мне много рек, но главная моя река – Рейн*» можно – и нужно, если есть возможность! – пытаться понять именно в Германии, в Шварцвальде, который Цветаева любила, в котором жила год в ранней юности. Во Франции М. Цветаевой довелось прожить 14 лет, а Швейцария сохранила часть архива, который в 1939 году невозможно было ввезти в Россию. Эта часть творческого наследия М. Цветаевой хранится в университетском архиве города Базеля, куда я из Вайля ходила пешком.

Мои рассказы о том, что мне повезло найти в этом архиве 2 неизвестных к тому времени письма М. Цветаевой, возможность свободно готовиться в университетском архиве для участия в научных конференциях Дома Марины Цветаевой в Москве как-то особенно действовали на Марину Кравцо-

ву. «Вот и ты не пошла бы в казино, чтобы перемещаться в другие миры», – сказала она, прочитав мою публикацию об архивных находках в «Родной речи»<sup>1</sup>. Что и говорить – это действительно выглядело экзотично: сестра по уходу за престарелыми в университетских архивах, участница научных конференций...

Особенность квартиры, в которой я жила, состояла в том, что из окон можно было смотреть во все три страны. Недостаток был, правда, существенный: квартира была служебной, были окна и с видом на место работы.

Так вот, все эти два года до конца 1999 года Марина звонила мне, я становилась к окну, «смотрящему» в Швейцарию, и мы говорили. Прежде она, конечно, заботливо справлялась, в состоянии ли я слушать и говорить, но как только звучало моё: «Я уже смотрю в Швейцарию» – Марина начинала читать стихи или говорить о тревогах дня и времени, в котором мы тогда жили, часто о том, что говорила Анастасия Ивановна в подобном случае.

Маленькое, но существенное дополнение. Это окно с его чарующей особенностью – Марина не бывала в сказочной Швейцарии – было словно создано для того, чтобы там можно было подолгу стоять: мне, натрудившей спину и руки за время работы, важно было снять нагрузку, и высокий подоконник был замечательной опорой. Квартира была мансардной. Взгляд – поверх крыш. Времена года по-разному расцвечивали сады. Марина любила слушать мои рассказы о том, что цветёт в садах, какие птицы поют. Весной, летом и ранней осенью я стояла у раскрытого окна. Часто небо было уже звёздным, когда мы прощались. Можно понять Марину, стремившуюся слушать мои рассказы о наших райских местах. Вот как писала она ещё до нашего знакомства о районе Кёльна, где ей довелось жить:

---

<sup>1</sup> Лит. журнал под редакцией Ольги Бешенковской. Там о том, как я использовала несколько дней отпуска, работая в архиве для публикации: «Кто-то в другие страны, а я – в другие миры». Мои знакомые тогда поехали в Италию, звали, но я решила иначе.

*Эмигрантский район – галёрка,  
Райк, где исчадием ада  
Полыхнёт вдруг клопами и хлоркой,  
И гарью рябой эстакады.*

*Что ни дом – океанский лайнер.  
И на равных в нём каждый – крайний –  
Безработный и безроссийный  
Эмигрантский народ стихийный, –  
Где-то Байрон, а где-то Герцен,  
Поза грусти от боли в сердце...*

На Рождество 1999 года Марина Кравцова и дочь Александра приехали погостить ко мне в Вайль ам Райн. Тогда Марина подарила мне свой второй сборник «Зеркальный коридор», издания 1995 года, который посвятила памяти Анастасии Цветаевой. Прежде, летом, 3 августа 1999 года, Марина переслала мне вышедший в Москве третий сборник «Арабески» с надписью «Лиле Цибарт<sup>1</sup>, очень значимому для меня человеку, которого чувствую и понимаю». И вот, я её прошу подписать «Зеркальный коридор», чуть помедлив, пишет: «Лиле от Марины Кравцовой с пожеланием Света, Тепла и Любви, хотя... Зеркальный коридор – это холодно. 26.12 1999» Почему помедлила? Боялась «невстречи»? Стоит только почитать стихи, написанные уже во время нашего знакомства, но до встречи, чтобы понять, в каком состоянии Марина приехала ко мне тогда:

*Мне ничего уже не снится,  
И никуда не позовёт  
Ещё одна строка, страница,  
Путь до которой месяц? Год?*

---

<sup>1</sup> До 2006 года я носила фамилию Цибарт, после же приняла мою девичью фамилию Фогельзанг. Посвящение в сборнике «Маятник» мне тоже на фамилию Цибарт.

*Быть может, что-нибудь из завтра,  
А может, что-то из вчера... –  
Но у молчанья есть соавтор –  
Оно – смертельная пора.*

*Ведь немота – сизифов труд поэта.  
Уж не её ли бумеранг  
Лишает воздух вкуса, цвета? –  
Вес мир – как смолкнувший орган,*

*Когда вдруг кажется, что даром  
Декабрь влачится к январю.  
Не поле, а поэт – под паром!  
Не жду! Не верю! Не люблю!*

*Три «не», а может быть и хлеще...  
И неизвестность на плече  
Охрипшим вороном клеветет,  
Крылом сметая суть вещей.*

Все эти два года до нашей встречи Марина была опечалена тем, что «стихи иссякают» (её выражение). К счастью для Марины, оказалось, что декабрь 1999 года недаром «влачился» к январю. Наступал год, с числом которого было заманчиво связывать начало третьего тысячелетия – уж очень круглая была дата! Для Марины начало нового года стало началом нового состояния. Преображение это случилось – свидетельствую! – в тот день, когда над Европой свирепствовал ураган «Лотар».

Но, забегая вперёд, скажу, как встретила Марина с пространством, куда из Кёльна почти ежедневно в течение двух лет устремлялся её голос. Первое, что завораживало каждого входящего в ту квартиру, был вид на Тюллинген Берг. Единственное большое окно в гостиной «смотрело» на холм, который и в декабре тёплых здешних зим был волшебным раскрашен: ещё державшаяся багряная, жёлтая и зелёная листва

виноградников расцветивала юго-западный склон Тюллингена. Марине было необходимо некоторое время, чтобы прошла оторопь. От её взгляда не ускользнуло, что на вершине холма нелепо смотрятся два каких-то строения, и она тут же спросила, что это? Я рассказала, что с холма открывается вид на три страны, и для новогодних гуляний в этом году построили 2 павильона: один для гостей 1-го класса, другой ... для «обычных» посетителей. Помню, как Марина возмущилась – все, кроме строителей, возмущались тогда затеей двухклассовой встречи 2000-го года: этот холм, как никакой другой, всегда уже являлся символом устранения границ! Кто не знает, что у подножия в одно слились разные города, не догадывается, что там, внизу, оказывается, проходят границы трёх стран.

...Как сейчас вижу встречу Марины с окном, «смотрящим» в Швейцарию: подошла, постояла, ничего не сказав. Поняла, что место надёжное: здесь мне действительно удобно слушать её, а Марине тогда необходим был кто-то, кто её слышит. В такие времена лучше, чтобы человек был далеко – только тогда и возможно многое.

Позже, после первого посещения<sup>1</sup> в 1999 году, когда Марина стала писать совершенно новые по темпераменту стихи, где было место полёту мысли, цвету, полному голосу, мне подумалось, что окно, «смотрящее» в Швейцарию, с его особенностями сыграло в Маринином преображении свою роль.

В день, когда свирепствовал ураган «Лотар», я была на дежурстве, а Марина с девчонками – нашими дочерьми – была дома. По радио передали предупреждение о том, чтобы никто не выходил из помещений. Я позвонила домой, чтобы передать предупреждение и попросила Марину подойти к окну, «смотрящему» на дом престарелых. Мы разговаривали по телефону, видя друг друга.

Помню её улыбающуюся.

---

<sup>1</sup> Марина гостила у меня ещё раз, но уже в Лёррахе.

«Лотар» буйствовал. В воздухе над городом носились огромные части двух павильонов, которые были буквально сорваны с холма и превратились теперь в огромные клочья – так природа расправилась с классовой несправедливостью!

Когда я возвратилась домой, то буквально не узнала Марину: она сияла, была заметно оживлена и рассказывала, что видела из окна, «смотрящего» в Швейцарию, как с нового строящегося дома ураганом сняло крышу, потом эта крыша «поехала» по воздуху и плавно осела на дорогу, не причинив никому и ничему вреда – всё это граничило с чудом, но самым большим чудом было то, что Марина тут же показала мне набросок нового стихотворения и сказала, что понимает вдруг: стихи не иссякли.

В воздухе витал дух обновления.

И если ещё пару недель назад звучало:

*Мне ничего уже не снится,  
И никуда не позовёт  
Ещё одна строка, страница...,*

то теперь явно наступало новое время – новые стихи:

*Январь в оправе янтаря,  
А это значит – солнце ближе,  
И обезглавлена струя  
Пурги, испепелившей крыши.*

*...Способный провалиться в прорубь  
И оторваться от земли,  
Январь – не оторопь, а повод,  
Чтоб строчки сумерки сожгли.*

*...Чтоб от поэзии до прозы  
Пространство мерила свеча*

*Тем пламенем, той силой света,  
Что не способна не дрожать.  
Но в ней судьба, в ней жизнь поэта –  
На равных: ад и благодать.*

Это стихотворение, отрывки из которого здесь привожу, Марина написала в Каннах в жарком июле наступившего 2000 года, но оно о том самом январе, к которому её привёл декабрь в Вайль ам Райне.

Потом были дни и месяцы новых стихов для Марины и обретение интереснейшего опыта сотворчества для меня: прочитав что-то новое, Марина просила – требовала! – сказать «как?». Если ответ был быстрым и однозначным – чаще всего это были восторженные ответы – звучало что-то вроде недоверия или мысли о том, что я «ее жалею», не говоря всего, как если бы ответ был не очень положительным.

Иногда она вдавалась в приятные воспоминания и рассказывала, как они «разбирали» стихи, анализировали в литинституте. Больше всего меня удивляли, даже веселили её ожидания, что я могу – и буду – разбирать с нею стихотворение!

Все мои уверения, что от меня не будет другой реакции, кроме читательской, не останавливали её попытки «воспитать» во мне необходимого ей аналитика, но я только посмеивалась и говорила, что заниматься «препарированием» слова ... не вижу для меня смысла.

На мой вопрос, нет ли рядом профессионалов, Марина грустно отвечала, что, несмотря на то что среди соседей «где-то Байрон, а где-то Герцен», совпадения как-то не получается. Она тут же перевела всё в шутку и рассказала, как ей, спешащей на занятия в школу, где тогда преподавала русский, пришлось-таки выслушать автора поэмы, у которого не было даже телефонного слушателя. Так Марина, стоя у подъезда – и это в февральскую стужу! – вольно-невольно присутствовала на презентации поэмы под названием «Кота моего!» И смешно, и грешно – так говорится об этом в народе...

Есть понятие – и занятие – пить глотками вино, наслаждаясь.

Моё наслаждение словом – *по случайности* не переносу алкоголя! – можно сравнить, наверное, с чувством того, кто, держа в руках бокал вина – у меня в руках сборник стихов! – своим видом и состоянием являет **удовольствие**.

Я, действительно, беру стих глотками, давая ему, как цветку, распуститься во мне, проникнуть в каждую клетку. О, Марина сразу почувствовала это! И смирилась с невозможностью заниматься со мною анализом стихов, как это бывало в семинаре Евгения Рейна, которого очень ценила, благо, нашла слушателя-ценителя слова. Сразу и однозначно Марина поняла ещё другое: никогда не отнесусь формально, не скажу, что нравится, что «звучит» там, где этого нет. Она оставляла для доработки, оттачивала или записывала как окончательный вариант то, что и во мне находило оценку, адекватную её задумке. Неудавшееся спокойно отправляла в корзину – проходное.

Ах, как щедро Марина одаривала меня посвящениями! Иногда я смущалась: опять мне?.. Но азартное в ответ: «Без тебя этого стихотворения не было бы!» – сметало все сомнения, и дар принимался с благодарностью – так иной принимает бутылку редкого вина (Да простится мне это сравнение!)

Мне вовсе не показалось: в те два года, между началом 2000-го и 2002-го, как я поняла из Марининых рассказов о каждом дне, пришли в движение и другие дела. Началось – или возобновилось? – общение с известным славистом Вольфгангом Казаком, и Марине стал доступен такой необходимый, пусть редкий, но обмен **со специалистом**.

*«Удивляет и восхищает мастерство Марины Кравцовой, когда она, оттолкнувшись от какой-то незначительной детали, от локального, бытового события, происходящего в нашей жизни ежедневно, как бы поворачивает магический кристалл, и обыкновенная капелька жизни вдруг начинает сверкать, как*

*огранённый алмаз,»* – писала о творчестве Марины Кравцовой Раиса Штепа по случаю выхода «Маятника».

Есть много примеров, как именно таким способом – с помощью магической силы, данной поэту, – Марина из какой-то детали нашего разговора вскоре создавала стихотворение. Вот, например, говорили о жизни, о том, как важно иметь надёжный тыл, что внешнее так влияет на жизнь... Но я и не помышляла, что её откликом на сказанное мною о важности «внутреннего стержня, вернее, внутренней лестницы» станет новое, по сути, программное стихотворение!

*Горы льются и пенятся  
Снегом, сумраком, облаком.  
Я сама себе – лестница,  
Я сама себе – колокол.*

*...Раз сама себе стены я,  
Я – сама себе родина.*

Или вот ещё случай. Очередной раз удивлённо-восхищенно отзываясь о моём умении работать с больными и умирающими, Марина спросила, как я могу это, как выдерживаю? Я ответила ей тогда, что помню об Ангеле-Хранителе, стоящим за моим правым плечом. Беру его крыло и словно шалью закрываюсь от холода и невзгод дня. Уже на следующий день слышу новое стихотворение:

*Я завернулась в ангела крыло,  
Как в плащ, как в дуновение...*

Кто думал, что это стихотворение, весь его смысл до конца услышу время спустя, что написано оно было, по сути – хоть и случайно – для конкретного печального дня...

Не забуду наш телефонный разговор: Маринин звенящий голос – так и хочется сказать весенний голос! – говорит о работе, которая тогда у неё была, о том, что кто-то из учеников спросил, кто является её музой. «Простая сестра милосердия» – ответила им Марина, а передавая мне это, говорила как-то победно, что мне до сих пор радостно за неё ту, тогда торжествующую.

...Однажды настал день, когда я услышала от Марины: «Решено издавать сборник!»

О, теперь предстояли новые заботы для Марины и её близких – кажется, она всех вовлекла в это радостное дело, но каждое действие она считала необходимым обсуждать со мной. Тогда я ещё не знала почему.

Вольфганг Казак написал послесловие, Александра перевела на русский, от наследников Марка Шагала было получено разрешение на изображение его картины на обложке сборника. Всего было отобрано 98 стихотворений, которые были помещены в разделы «Пусть время замерло в зрачках», «Ты приснился мне только именем», «Я сама себе – лестница, Я сама себе – колокол» и «Место жительства – после родины».

Одиннадцать стихотворений из выбранных для сборника были написаны в августе, который был месяцем рождения Марины.

Когда Марина объявила мне, что посвящает мне **весь сборник**, я поняла, что это не только радостно, но и ответственно. Как ни заманчиво было поехать вместе с Мариной на презентацию «Маятника» в Москву, у меня это не получилось из-за больших перемен в моей семье.

Марина ещё раз гостила у меня. Тогда я уже жила в другом городе. В тот Маринин приезд я привела Марину в университетскую библиотеку Базеля и попросила показать нам всё, что там хранилось под названием *Depositum Marina Cvetaeva*.

Помню Мариного смущение – как? просто так можно? – и всю её помню **наедине** с тем, что когда-то было заботливо собрано Мариной Цветаевой для сохранения. Да, вопрос «кому потом заботиться о моём наследии» встаёт перед каждым...

Летом 2005 года Марина планировала отдых на Бодензее. Ей хотелось поехать с родителями и дочерью, хотелось, чтобы и я присоединилась, но у меня были заключительные экзамены и моя дочь сдавала экзамены за годы профессионального обучения, словом, у меня не получилось ещё раз увидеться с Мариной. К тому времени мы не так часто общались, но я писала ей открытки. Реже, чем мне хотелось, писала – таковы были обстоятельства тех лет. Марина звонила, чтобы благодарить и неожиданно для меня делала удивительные словесные зарисовки, наслаждаясь каждой деталью сюжета на открытке. Я, действительно, всегда любила посылать необычные открытки, потому и собирала для таких случаев.

Марина позвонила мне из Фридрихсхафена, где отдыхала, чтобы сказать о продающихся книгах, сказала, что разговор может внезапно оборваться, потому что монеты скоро закончатся...

Вскоре мне захотелось обрадовать Марину, послать ей открытку. И вот я долго выбираю что-нибудь подходящее... К чему, собственно, подходящее? Вдруг – сильнейшая боль, сердце кольнуло. Когда боль прошла, я не стала больше искать, взяла ту, что **как раз в этот момент** оказалась в руке: дама, какая-то царственная особа, едет на коне впереди, а за нею – свита.

На следующий день, 9 августа, звонок... Привожу здесь запись, сделанную тогда на одной из пустой страниц «Маятника»: «Только что позвонила Саша, Мариного дочь: Марина умерла сегодня утром. Пишу и не верю! Вчера мне вдруг она предстала: я обещала писать чаще, а сама давно не писала. Как ей отдохнулось на Бодензее? Она ТАК звала меня увидеться! Я не смогла. Всё думала, что успеется...»

Потом оказалось, что в тот момент, когда я выбирала открытку, Марина была без сознания, но ещё жива. Этот укол в сердце был и укор, и – оклик.

Август стал не только месяцем рождения для Марины, но и месяцем ухода.

С большими трудностями, но мне удалось поехать проводить её в последний путь – так оно и получилось, как в том сюжете на открытке: она впереди, а мы за нею ... к месту её захоронения.

Маринина мама рассказала мне, что по дороге домой из Фридрихсхафена, Марина, любуясь пейзажем за окном идущего поезда, вдруг позвала и указала на красивую радужную дорогу над озером: от воды к небу. Никто не мог разглядеть – это Марину удивляло.

...У могилы можно было сказать слово. Мой долг был сказать, что Марина была поэтом – вот тогда я прочла:

*Я завернулась в ангела крыло,  
Как в плащ, как в дуновение,  
Когда оно вдруг небом расцвело,  
Его семью ступенями.*

*По ним я на седьмое небо шла  
Не нищенкой, не беженкой,  
А как сквозняк из-за угла  
Вдоль безнадёжно нежного  
Лица, изгиба шеи и ресниц,  
Вдоль просто одуванчиков.  
Сквозняк, мой баловень, мой принц,  
Мой выдох нестраченный.*

*Я на седьмое небо шла пешком  
По ливню и по инею,  
Как в обморок, как в блажь, как в сон.*

*Как ломаная линия,  
Я шла по утомлённой синеве  
И по свинцовой тяжести,  
Как разом по Валдаю и Неве  
И по всему, что небом кажется...*

Теперь читаю стихи, которые были пропущены через моё сознание, когда писались Мариной, и открываю так много нового, что тогда прошло мимо моего слуха...

Передо мной четыре сборника Марины Кравцовой – дар, предстоящие открытия.



*Миниатюрная скульптура  
Елены Школяренко, 2011*



Волна

и

камень

## УКРАИНА – ДО И ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ



*На снимке слева направо:*

***Эммануил Маркович Коган.** Участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов «Красная Звезда» и «Отечественной войны», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки, автор 240 научных трудов, лауреат Государственной премии России, создатель уникального высокоточного автоматизированного диагностического прибора «Диаморф».*

***Михаил Розумов.** В 1986 году – руководитель группы дозиметрического контроля Монтажного района Управления Строительства № 605 Минсредмаша СССР, с 1989 по 1993 годы – председатель Правления Днепрпетровской областной организации «Союз Чернобыль Украины», с 1993 по 2003 годы – начальник отдела по делам защиты населения от последствий аварии на Чернобыльской АЭС Главного Управления МЧС по Днепрпетровской области, с 2005 года – полномочный представитель «Союза Чернобыль Украины» в Германии. С мая по декабрь 1986 года обеспечивал радиационную безопасность участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при сооружении «саркофага».*

**Н**е перестаю удивляться тесноте мира и его неслучайным случайностям! Много лет эти два человека живут в Вуппертале, но познакомились лишь в ноябре 2013-го в местной библиотеке на получившей в городе большой резонанс фотовыставке «Украина – до и после Чернобыля». Как неожиданно выяснилось, пути их могли пересечься ещё 30 лет назад в форс-мажорных чернобыльских буднях... Вспоминает Михаил Розумов:

*«В красивом сосновом бору возле села Иловница в пионерском лагере «Сказочный» развернула работу медсанчасть № 126 с группой ученых из НИИ физико-химической медицины во главе с доктором наук, профессором Эммануилом Коганом – автором прибора «Диаморф», позволяющего с высокой точностью определять уровень облучения человека по хромосомным аберрациям. За время работы к помощи «Диаморфа» мы прибегали около тридцати раз...»*

Идея выставки работ фотохудожника Валерия Гольшейдера «Украина – до и после Чернобыля» принадлежит руководителю немецко-украинского интеграционного культурного центра «Жайвир» Циане Кушнир. Её активно поддержали Партия Зелёных Нордрейн-Вестфалии и Украинское консульство, после чего центр «Жайвир» совместно с городской библиотекой и организовал эту такую нужную сегодня выставку. Чтоб мы вспомнили и помнили...

## Ausstellung

28.10–23.11.2013



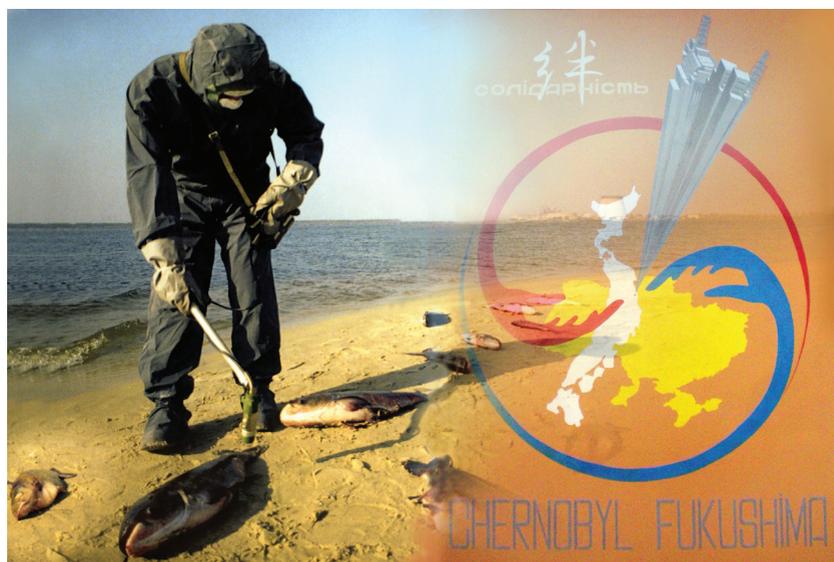
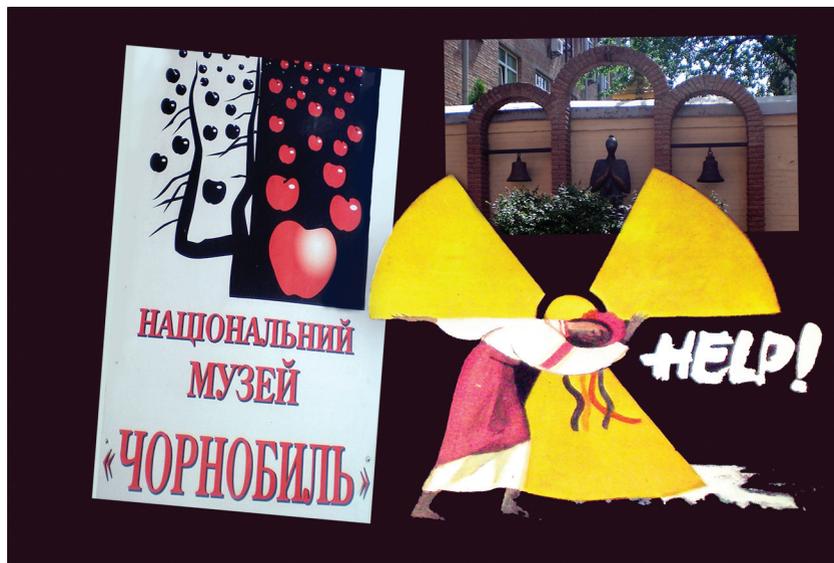
## Die Ukraine vor und nach Tschernobyl

Mit Fotos und Fotocollagen von Valeriy Golsheyder

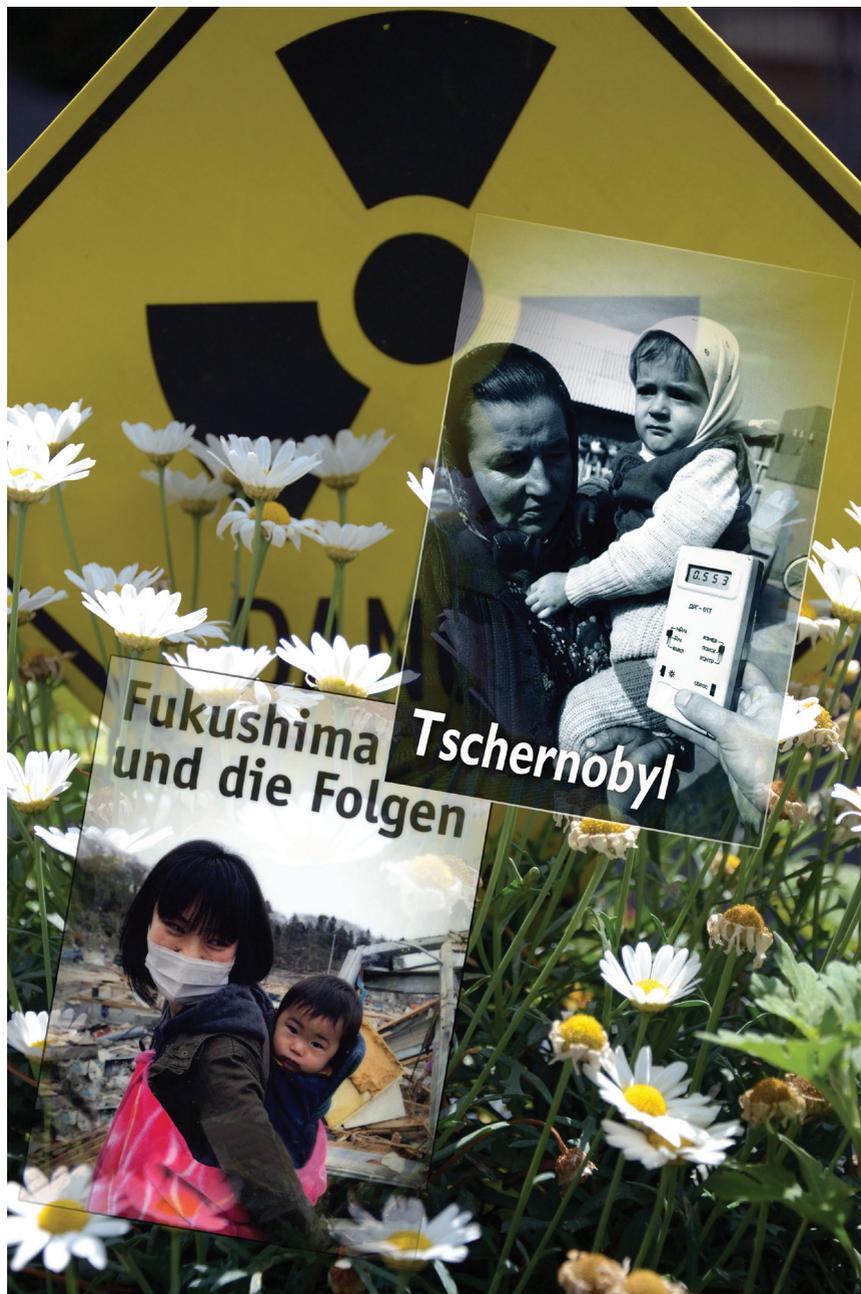
Zentralbibliothek Wuppertal  
Kolpingstraße 8  
42103 Wuppertal-Elberfeld











Fukushima und die Folgen

Tschernobyl

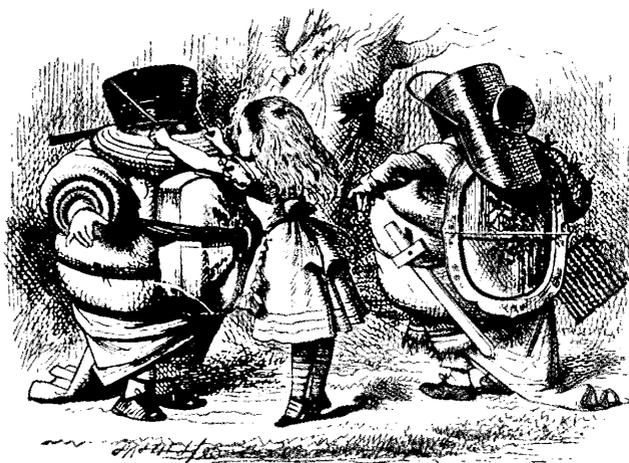








*Они  
сошлись*



## Джон МАВЕРИК

### Саарбрюккен

*Джон Маверик родился в Москве, живет в Германии. По специальности детский психолог, окончил Саарландский Государственный университет. Публиковался в журналах «Полдень. Двадцатый век», «Млечный путь», «Юнона и авоська», «Эдита Гельзен», «Очевидное и Невероятное», «Вокзал», «Второй Петербург», «Другие люди», «Сияние», «Сура», альманахе «XX век» и детском иллюстрированном журнале «Кукумбер», а также в газетах «Школьник», «Горцы», «Калининградка», «Наша Канада» и еженедельнике «Обзор».*

*Авторский сборник повестей и рассказов «Маленькое волшебство» вышел в Санкт-Петербургском издательстве «Другие люди». Рассказы автора также вошли в сборники «Исправленному верить» (издательство ЭКСМО) и альманах «Автор». Роман «Граффити», написанный в соавторстве с Анастасией Галатенко, вышел в 2013 году в издательстве «Букмастер».*

## АПЛОДИСМЕНТЫ ДЛЯ КУКОЛЬНИКА

### Повесть

### Глава 1

Тоскливо пахнет еловой смолой и перечной мятой. Сквозь прореху в крыше сарая виден похожий на лоскуток синего шелка кусочек неба, который то и дело легкими стежками прошивают тонкие черные силуэты ласточек. Мы лежим на досках, наполовину зарывшись в сено, – трое мальчиков и одна девчонка. Самый старший – Мориц Бальтес – только-только закончил шестой класс. Он самый харизматичный в нашей маленькой группе и самый сильный. Не физически, а как бы внутренне сильный – точно карликовая береза: вроде неказистое с виду дерево, а попробуй согни. Ребята в школе это чувствуют и никогда не задирают его, даже старшеклассники. Хотя с первого взгляда ничего особенного в нем нет. Полнова-

тый мальчик, неуклюжий, носит очки с толстыми стеклами, а в кармане – маленький фонарик, словно ему всегда и везде не хватает света. Когда пытается что-то разглядеть – хоть среди бела дня, – то прежде всего выхватывает это из воображаемой темноты узким направленным лучом. Вот язык у него хорошо подвешен, это да. Он мастер рассказывать. Наверное, потому, что много читает. Правда, я читаю не меньше, но Мориц любит серьезные романы – взрослые и немного жутковатые. Такие как «Звонок» Судзуки Кодзи или «Парфюмер» Патрика Зюскинда.

Двойняшки Хоффман – Марк и Лина совершенно не похожи друг на друга. Не близнецы, а настоящие антиподы. Лина – востроносая девочка-с-косичками, отличница и поэтесса, ведет дневничок, в который круглыми, почти каллиграфическими буквами заносит цитаты из любимых книжек, а также всякие свои девчачьи мысли, страдания и стишки. Последними невероятно гордится, хотя поэзии в них с гулькин нос, а путных идей и подавно. Ну это на мой взгляд.

Марк в раннем детстве переболел чем-то тяжелым, и теперь ходит во вспомогательную школу. У него плохая память, но светлый ум. Его замечания всегда наивные, но удивительно точные и честные. Например, может назвать кого-то злым, или подлым, или вруном, причем в глаза. К счастью, репутация «идиота» спасает Марка от неприятностей. Говорит он слегка нараспев, словно куражась, а на самом деле, чтобы скрыть заикание. Поэтому самые обычные слова звучат в его устах важно и многозначительно. Роняя на бегу «доброе утро», он не просто здоровается, а словно подчеркивает доброту этого утра. Когда Марк желает «спокойной ночи», веки тяжелеют и мысли останавливаются, а по всему телу разливается такой покой, что еле успеваешь добраться до кровати.

Ну и наконец, я – Седрик Янсон. У меня странные имя и фамилия, а в гостиной в моем доме на полке стоят несколько книг на непонятном языке, со странным значком «волнистая черта» над некоторыми буквами, но мама утверждает, что им-

мигрантов в нашей семье никогда не было. «Мы чистокровные немцы, – заявляет она с непонятной мне гордостью и еще менее понятным пафосом. – Посмотри в зеркало, Седрик, в твоих жилах течет арийская кровь». Я смотрю и вижу конопатого голубоглазого мальчика с оттопыренными ушами – что делает меня похожим на смешную летучую мышь – и мечтаю вырасти взрослым и сделать пластическую операцию. Но, несмотря на труднообъяснимую симпатию к зеркалам и арийской крови, моя мама не такая уж и плохая. Только готовить не любит. Поэтому мы часто обедаем в ресторанчике «Die Perle», который держит бразилец по имени Фабио.

Наш дом в поселке крайний, и участок идет чуть под уклон, спускаясь к овсяному полю. В саду растут персик и две яблони – бесполезные дички, которые, однако, весной потрясающе красиво цветут – и много-много кустов сирени.

Мы трое – я, Лина и Мориц – учимся в единственной на три поселка гимназии, и каждое утро отправляемся на школьном автобусе в Иллинген-Швиллинген, а в полвторого тем же манером возвращаемся обратно. Если кто-то задерживается после уроков и не успевает на автобус, приходится добираться на попутках, потому что транспортное сообщение с Иллингеном-Швиллингином очень плохое.

Но сейчас каникулы, и об учебе думать не нужно. Впереди еще пять недель пряного лета с его теплыми ароматами и мягким сеном, рыбалок, чтения, душевных бесед в нашем тайном клубе – сарае, ничейной развалюхе, которую мы облюбовали с молчаливого согласия взрослых, – игр, купания в речке и прогулок по лесу. В общем, беззаботного отдыха.

Беззаботного? Так нам тогда казалось...

\*\*\*

Мориц раскрыл перед собой на досках толстую, похожую на амбарный журнал книгу и навел тонкий луч фонарика на первый абзац первой главы – словно маркером отчеркнул, – но Лина тяжело навалилась ему на плечо и ладошкой закрыла

текст. Я только успел заметить нарядную готическую «P» в шутовском колпачке и с двумя тонкими горизонтально вытянутыми руками, отчего она казалась похожей не столько на «P», сколько на «R». С обеих рук заглавной буквы свешивалось по марионетке – пляшущий Каспер и снулая синеволосяя девица в клетчатом переднике.

– Ты обещал дорассказать про Кукольника, – потребовала Лина.

Мориц погасил фонарик. Выделенный световым маркером абзац побледнел, и на странице воцарились солнечные пятна.

– Что ж, Кукольник, – отозвался Мориц. – Я как раз собирался о нем почитать. У деда на чердаке книг пять или шесть про него.

– Ух ты! – я даже присвистнул от удивления. – Популярный национальный герой?

– Герой не герой, – пожал плечами Мориц, – а самое интересное в его истории то, что она не только случилась на самом деле, но еще и в этих вот самых местах. Кукольник ходил по дорогам – из Оберхаузена на Швиллинген, ел... ну, не у Фабио, но на месте «Perle», говорят, и раньше стоял трактирчик. Покупал время у Часовщика...

– Шутишь? – меня передернуло, а Лина рядом со мной нервно хмыкнула.

– Очень может быть, – сказал Марк. – Часовщику лет сто, не меньше. А то и двести.

Это прозвучало нелепо, но никто не засмеялся. Часовщиком у нас в Оберхаузене звали сумасшедшего старика с труднопроизносимой восточной фамилией. Впрочем, все называли его просто «господин Ли». Он не продавал часы и не чинил их, а торговал овощами и фруктами. На конторке перед ним всегда стояли огромные весы с латунными чашками – у меня они вызывали ассоциацию с Фемидой – и, когда покупатель заходил в магазин, Часовщик спрашивал, например: «Взвесить вам килограмм времени?» Или «полкило», или «сто пятьдесят

граммов», или еще сколько-нибудь. Над ним смеялись, но только до тех пор, пока не заметили, что те, кому господин Ли отвешивает всего пару десятков граммов времени, как-то очень быстро умирают. Тогда Часовщика стали бояться.

– Возможно, в сарае, где мы сейчас валяемся на сене, Кукольник прятал своих марионеток или давал представления, – задумчиво произнес Мориц. – Или вот этими самыми граблями, – он кивнул на прислоненные к стене грабли, – его забили до смерти.

– Его забили граблями? – поразился Марк, а я с уважением оглядел ржавую раскоряку с почерневшей ручкой, и налипшие на зубцы катышки навоза показали мне засохшими кусочками человеческой плоти. Ерунда, конечно. Мое проклятое воображение.

– Никто толком не знает, как он погиб. Теперь, я хочу сказать. Но существует несколько гипотез, – охотно пояснил Мориц. – Например, что его зарыли в землю живьем, закидали песком или камнями, обмазали медом и посадили на муравейник, утопили или, как я сказал, забили насмерть граблями и лопатами, а может, и еще чем-нибудь. Но я еще не все прочитал. Это второй том, а я его только начал.

– Прямо китайские казни, – заметила Лина, нервно теребя ленточку в косе. Бантик развязался, и волнистые темно-рыжие волосы заструились по плечам. – Жалко его.

Мне тоже стало жаль бедолагу. Дались ему эти куклы и кукольные спектакли. Нет бы заняться чем-нибудь полезным, например, продавать яблоки да инжир, как господин Ли. Зачем делать то, что другим ненавистно, за что тебя все время бьют и мучат?

– Он не мог иначе, – возразил Мориц не то Лине, не то мне на мои невысказанные мысли. – В книге написано, что марионетки были живыми, и что на самом деле не Кукольник их водил, а они его водили. Он не смог бы от них освободиться, даже если бы захотел. Хотя плевки и побои доставались ему, Кукольнику.

– Как интересно, – протянул Марк. – Дай почитать?

– Не знаю, – замылся Мориц. – Деда спрошу. Он к своим книжкам неровно дышит. Я сам их тайком уволок с чердака, – добавил шепотом, и мы поняли – не даст. Никому. Не из-за того, что жадный, а потому, что истории эти – ох какие непростые. – Пойдемте-ка лучше играть, что толку тут валяться. На газон к Миллерам вчера приземлился космический корабль!

Мы встали с досок и, отряхиваясь от приставших к одежде стебельков травы, гуськом вышли из сарая. Дом Миллеров находился на другом конце поселка, за ресторанчиком Фабио и водонапорной башней. Добротный, большой дом-особняк – с террасой, гаражом и увитой клематисом беседкой – под стать дружной и трудолюбивой семье. У Миллеров было трое взрослых сыновей и маленькая дочка, которую все ребята почему-то дразнили Пчелкой. За гаражом, на широкой ничейной лужайке, возвышалась металлическая бочка, и в самом деле похожая – своими оплавленными краями, окрашенными в цвета побежалости, – на остов космического корабля. В любую погоду, после затяжных осенних дождей или в дни летней засухи на самом ее дне плескалась вода – густо-серебряная, с мелкими желтыми крапинками цветочной пыльцы или плавучими монетками березовых листьев.

– Точно, звездолет, – я настороженно провел ладонью по холодной поверхности. Она блестела эбонитовой чернотой и казалась опаленной космическим огнем. – Даже ржавчина не берет. Или разведывательный зонд. Придумал! Шпионский корабль.

– Зеленые человечки с Марса, – веско сказал Марк. – На Землю высадился десант зеленых человечков.

Мориц ухмыльнулся.

– Аватары, – подхватила Лина, – роботы-трансформеры...

Чем только она не побывала, эта несчастная железная посудина! Лина уперлась локтями в гладкие края и заглянула внутрь.

– И-и-и-и!

Не понимая, что ее напугало, мы с Морицем одновременно склонились над бочкой, так что чуть не стукнулись лбами. В жидком серебре что-то перемещалось медленными, волнообразными движениями, как будто по стенкам и по дну ползали жирные – в два пальца толщиной – черные гусеницы. Почти сразу я догадался, что это оптический обман – таким странным образом вода преломляла отражения бегущих по небу облаков. Но выглядело неприятно и одновременно завораживающе красиво. Гораздо красивее, чем можно было ожидать от обыкновенных отражений в бочке.

– Ребята, а может, ну ее? – сморщила нос Лина. – Там что-то противное завелось.

– Это те самые зеленые человечки, – я скосил глаза на Марка. – Они очень маленькие и мягкие, как желе, и, чтобы перенести приземление, должны лежать в специальном растворе... Давайте-ка поможем им покинуть корабль!

Мою идею приняли на ура – все, кроме Лины. Она боялась всяких ползающих тварей и никак не хотела верить, что в воде на самом деле никого нет.

Я, Марк и Мориц втроем навалились на бочку. Та оказалась на удивление устойчивой, словно за время своего пребывания на лужайке – а пребывала она там, наверное, со дня великого потопа – вросла корнями в землю. Корни мягко пружинили, а у меня возникла отчетливая иллюзия, что мы пытаемся выкорчевать голыми руками столетнее дерево.

– Видно, не судьба марсианам познакомиться с братьями-землянами, – вздохнул я. – Придется им утонуть.

– Погоди, надо сначала раскатать, – предложил Мориц.

Мы провозились с марсианским звездолетом, наверное, минут сорок, пихая его так и эдак – пока, наконец, он слегка не качнулся, подался назад, точно спасаясь от наших пинков, и вдруг как по маслу пошел вниз и спокойно лег на бок. Вода из него так медленно и вальяжно вытекла, будто хотела продемонстрировать свое презрение к закону Ньютона, и вот тут-то мы осознали, что никакие зеленые человечки не пла-

вали в гравитационном растворе, а настоящим космическим пришельцем была она – красивая, ярко-серебряная и пока еще безымянная, причудливо и страшно преломлявшая облака нашего земного неба. Теперь она выплеснулась в траву, протянулась меж камнями тонким, будто конский волос, ручейком от места падения бочки до самого гаража и в противоположную сторону – до лесной окраины, где паслась привязанная к березке коза Миллеров по кличке Белоснежка. Слишком поздно мы поняли, что натворили. Оно все никак не впитывалось в землю – это жидкое серебрение, а струилось поверх комков глины и всякого мелкого сора, огибало лежащие на пути палочки, петляло, извиваясь, точно слепая змея, которая ползет на запах крови. Мы стояли, растерянные, и видели, как оно коснулось переднего копытца ничего не подозревающей козы, и животное завертелось на месте, как будто за ним гонялась стая разъяренных шершней. Желание играть пропало. Мы еще попинали для порядка неподвижный корпус космического корабля – теперь пустой и на вид совершенно неопасный – перекинулись парой-тройкой замечаний о первом контакте с внеземным разумом. Только не хотелось нам больше никакого контакта.

Лина запрокинула голову, так что золотые локоны скользнули ей под вырез футболки, и посмотрела на солнце.

– Ребята, мы с Марком, пожалуй, пойдем. Обедать пора.

На моих наручных часах не было и двенадцати. Так рано никто в поселке не обедал, а уж тем более Хоффманы, которые и вставали в нерабочие дни позже одиннадцати, и ложились нередко за полночь. Но я промолчал.

– Ладно, народ, расходимся, – решил Мориц. – Вечером можно на речку пойти, мне отец спиннинг починил.

Я, Лина и Марк энергично закивали. Мы, как невольные убийцы или – что больше похоже на правду – неразумные вандалы, сбегали с места преступления. На прощание Мориц хлопал меня по плечу.

– Эй, Седрик, а ты не забыл? С тебя сценарий.

– Ага, – буркнул я. – Помню. Напишу.

Речь шла о сценарии для школьного спектакля, который мы собирались показать в первый день учебы первоклашкам, их родителям, учителям, а также всем желающим – я не сомневался, что смотреть придут и старшие ребята, и все, так или иначе связанные со школой и даже не связанные. Развлечением поселковая жизнь не баловала. Мягко говоря.

Идея принадлежала Лине, которая чувствовала себя на сцене, как лягушка в пруду, – простите, о девочках так нехорошо – как рыба в воде. Пьесу поручили написать мне, потому что если в устных рассказах Морицу не было равных, то я считался самым лучшим из нашей великолепной четверки «летописцем». Дневник я не вел – во всяком случае, в таком виде, как Лина, но мог пространно описать любое событие. Да, к тому же... Я имел еще одно необходимое для каждого летописца качество. Все, что ни выходило из-под моего неловкого ученического пера, могло быть каким угодно: неграмотным, корявым или просто глупым, но всегда – правдивым. Не стану попусту бахвалиться, но врать я не умел.

## Глава 2

**Я** немного пошатался по улицам. В ушах звучало жалкое мекание несчастной козы, а перед внутренним взором всплывали, то бледнея, то разгораясь с новой силой, картинки, одна другой непригляднее. Огромный игольчатый холм, полный кусачих муравьев, тени облаков на мокрой траве, и занесенные для удара грабли, и серебряный ручей, удавкой затянувшийся на шее Кукольника. Все мелькало и выстраивалось в самую дикую в мире пьесу, какую я бы не согласился сыграть на школьной сцене даже под дулом пистолета. Во всяком случае, так я думал в тот момент.

Когда голод, наконец, загнал меня домой, первое, что я почувствовал, войдя на кухню, – это запах подгоревших макарон. Мама решила приготовить обед, какое событие! Но по-

лучилось как всегда: поставила кастрюлю на плиту и занялась другими делами, а вода между тем выкипела, и все содержимое припеклось ко дну.

– Ну что, маман, есть нечего? – спросил я вместо приветствия, слегка в нос, на французский манер. – Пойдем, что ли, к Фабио?

– Думаешь, у меня деньги в огороде растут? – огрызнулась она. – У твоего отца зарплата в конце месяца, а сейчас только семнадцатое.

Мать сидела за кухонным столом с карандашом в руке и быстрыми штрихами что-то подчеркивала в разложенной перед ней газете. Я пожал плечами и открыл дверцу холодильника, раздумывая, не пожарить ли яичницу. Хотелось чего-нибудь побыстрее и посытнее.

– Проголодался, да? – вздохнула мама, разглядывая меня с любопытством, словно какое-то диковинное насекомое. – Мальчишек твоего возраста не прокормишь. Что поделать – растешь. Ладно, Седрик, пошли в «Perle», собирайся.

– Это ты собирайся, в халате сидишь, – пробурчал я и облизнулся.

У Фабио готовили вкусно. Кроме нас в ресторанчике обедали двое незнакомцев – видно, приезжие. Старый господин лет шестидесяти, с бородавкой на левой щеке, важный и крепкий, и красивая девушка, похожая на нашу учительницу математики, только моложе. Я смотрел на нее, уплетая бобы с тонкими треугольными хлебушками, которые можно было макать в острый соус, и гадал, кем она приходится старику. Внучкой? Дочерью? Любовницей? Они сидели друг напротив друга за столиком у окна, так что лучи солнца, просачиваясь сквозь желтые занавески, окрашивали волосы и плечи девушки нежно-золотым. Пожилой господин склонился к ней через блюдо с овощами и тарелку с дымящимся супом и, улыбаясь, что-то говорил, легонько дотрагиваясь короткими пухлыми пальцами до ее руки. У красных босоножек девушки крутилась, выпрашивая еду, огненно-рыжая кошка Фабио.

– Перестань пялиться на людей, – прошипела мать и больно толкнула меня ногой. – Это неприлично.

Я дернулся и от неожиданности выронил вилку, запачкав подливкой белую скатерть.

– Господи, Седрик, и в кого ты у меня такой нескладный?!

Ответ подразумевался сам собой – в отца, конечно. Мы с ним оба нескладные, хотя макароны в кастрюле подгорают не у нас.

«А не написать ли сценарий про мою маман? – раздумывал я. – И про все ее закидоны?». Успех будет ошеломляющий. Такого типажа не придумаешь нарочно. Вот только если мать придет посмотреть и узнает себя – а она узнает, – то что она мне сделает? Закатит дома истерику – с ремнем, валидолом, битьем посуды и хлопаньем дверьми – или публично надает пощечин? Последнее уже случалось однажды, чуть меньше двух лет назад. Не помню, чем в тот раз провинился, но после экзекуции я сбежал из дома и четыре дня жил у Бальтесов. Именно тогда мы с Морицем крепко сдружились. Потом с родителями помирился, но пережить такой позор снова, да еще на глазах у всей школы, я не был готов даже из любви к искусству.

Старик с девушкой расплатились и вышли из рестораника, а кошка переместилась под наш стол. Вместе с их уходом что-то сдвинулось в пространстве, как будто оно лишилось одной из степеней свободы. Я продолжал размышлять, не сознавая, что трепыхание моей мысли теперь – всего лишь конвульсивное подергивание пришитенной к доске бабочки. Меланхолично ковырял вилкой бобы – аппетит почему-то пропал, как отрезало – и прислушивался к сытому мурлыканью под ногами.

– Мам, – спросил я вдруг неожиданно для самого себя, – ты слышала про такого... бродячего артиста? Он показывал спектакли с марионетками. Его, говорят...

– Седрик! – мать поджала губы, а голос ее взвился до визгливых, истерических нот. – Ты долго будешь есть? Я не собираюсь торчать здесь весь день. Мерзость он показывал и получил по заслугам. Ты понял? Мерзость.

Следующим утром, стоя на газоне за домом Миллеров, Лина растерянно огляделась, и на ее лице появилась та же брезгливая гримаса, которую я наблюдал накануне у своей маман при упоминании Кукольника.

– Ребята, мы... Вы не смейтесь только, но мы вчера что-то очень плохое на волю выпустили. Какую-то...

Она запнулась и подыскивала слово, но то, как видно, не шло на язык. Да и как назвать аморфное, злое серебрение, прочертившее лужайку наискосок и оставившее после себя густую поросль кошачьей травы? Или она тут и раньше росла? Кто бы теперь мог сказать?

Зато у меня слово было наготове.

– Мерзость. Какую-то Мерзость мы выпустили.

– Да! – подтвердила Лина, а Мориц спросил:

– С чего ты взяла?

– А ты сам посмотри внимательнее, – ответила Лина.

Мы с Морицем как по команде опустились на четвереньки и принялись изучать почву в том месте, где пролилась вода из бочки. Серебряная струйка давно впиталась. В пыли не осталось никаких следов. Новенькие стебельки кошачьей травы выглядели сильными и сочными. Будь я кошкой, сказал бы – аппетитными.

– Ну, – неопределенно хмыкнул Мориц, задумчиво водя по земле бледным лучом фонарика. – Взошло тут что-то на радость поселковым мяукам. Ты об этом? Ну и что?

– Да вы встаньте, мальчики. Посмотрите сверху.

– Как бы поверх травы и в то же время чуть-чуть вглубь, – веско изрек Марк. Очевидно, он видел то же самое, что и его сестра.

Я поднялся на ноги. Прищурившись так, что солнце в просвете облаков превратилось в узкое веретено, а лужайка заблестела и растеклась волнами, как озеро в знойный день, сконцентрировался на лежащей бочке. Сияние исходило от нее переливчатой короной и слепило глаза. Яркие бело-желтые лучи почти вертикально падали с неба, и такие же, только чуть

потемнее, насыщенные зелеными испарениями жизни, восходили им навстречу. Только в некоторых местах нисходящие и восходящие потоки ломались, как бы проваливаясь в пустоту. Например, у самого устья бочки – оттуда словно вытекала черная река, рассекая лужайку кривым шрамом. Теперь я увидел его отчетливо, как и всю картинку – воспаленный, уродливый рубец на фоне сверкающего мира. Он протянулся от гаража до той березки, у которой еще вчера паслась коза. Но самое страшное было в другом: под шрамом начиналась гангрена. Половина лужайки и почти весь участок Миллеров – насколько я мог его рассмотреть – казались мертвыми. Я даже не знаю, как объяснить, потому что никогда раньше такого не встречал. Это можно сравнить с ампутированной рукой – вроде бы та же, что и раньше, целая, да только неживая. Вот и те кусочки земли – они не поглощали солнца и не излучали ответного тепла.

– Боже мой, – только и сказал я.

За моей спиной Мориц с шумом втянул в себя воздух.

Так бы мы и стояли, как четыре истукана возле пустой бочки, если бы дверь дома не отворилась и на крыльцо не вышел Фредерик, старший из трех сыновей Генриха Миллера. Его заляпанные машинным маслом тренировочные штаны пузырились на коленях. Майка топорщилась, открывая волосатую грудь. Он хмуро посмотрел в нашу сторону, заслонившись от солнца ладонью.

– Ребят, вы вчера Белоснежку ничем не кормили?

– Нет, – ответили мы в один голос.

Фредерик Миллер задумчиво поскреб пятерней голову, зевнул и спустился с крыльца на задний дворик. Оттуда послышалось его недовольное бормотание и шарканье метлы по бетону. Потом звон разбитого стекла и громкие проклятия. Мы испуганно переглянулись.

Шум на заднем дворе Миллеров стих, а через минуту на террасе, отстукивая каблукочком ритм, запела Пчелка: «Санкт-Мартин, Санкт-Мартин, Санкт-Мартин скакал сквозь дождь и снег...».

– О Боже мой, – снова тупо произнес я.

– А что, если это и в самом деле инопланетное нашествие? – жалобно пискнула Лина. – А вдруг так оно и есть?

Мы еще раз внимательно оглядели замаскировавшийся под бочку космический объект. Холодный синеватый металл, гладкий и на вид вполне земной.

– Легированный сплав углеводородистого титана с кристаллическим графитом, – вынес вердикт Мориц. – Производится на четвертой планете системы Альфы Лебеда.

– Кристаллический графит – это алмаз, – возразил я. – А если без шуток?

– Ну не знаю. Странная штукавина, да. Если присмотреться. Так ведь любой предмет начинает выглядеть странным, если к нему слишком долго присматриваться.

– Надо перевернуть и проверить, не осталось ли там немного той воды, – предложил Марк.

Идея всем понравилась – на словах, – но близнецы Хоффманы нерешительно мялись, да и Мориц не спешил первым войти в неприятельский звездолет. Я, не чуя подвоха, лег на траву и бесстрашно просунул голову и плечи в черное отверстие. И – словно очутился в тесном тоннеле, пахнувшем неприятно и железисто – сырым песком, ржавчиной, солью, гнилыми листьями и мясом. Так воняет морская вода у причалов – мутная и нечистая, загаженная пролитым с катеров бензином и дохлой рыбой – или залитый кровью пол на мясокомбинате. Так пахли весы, на которых безумный Часовщик отвешивал время легкомысленным жителям Оберхаузена. От зловонного дыхания смерти меня замутило, а стены тоннеля надвинулись и сдавили мое застрявшее в узком проеме тело так, что захрустели позвонки. Издалека – из душной глубины бочки – мне навстречу сверкнули полные нечеловеческой злобы серебряные глаза. Мерзость! Там еще оставалось немного Мерзости. Я, идиот, сам полез к ней в логово, и уж теперь-то она меня не отпустит. Затащит внутрь и съест. Вместе с этой мыслью на меня накатила такой дикий, парализующий страх,

что крик застрял в глотке, словно впихнутый обратно чьей-то сильной рукой, а тоннель закрутился, замелькал и взорвался ключьями угольной темноты. Возможно, кто-то из ребят покатил в тот момент бочку... не знаю... Мне в легкие хлынула, поднявшись со дна, серебряная влажность. Дыхание прервалось, и я потерял сознание.

Очнулся я в доме Миллеров, на плюшевом диванчике в гостиной. Надо мной склонились Мориц, глава семьи Генрих в черном вельветовом пиджаке, Фредерик и хозяйка Мартина с розовощекой Пчелкой на руках. У меня все плыло перед глазами, и казалось, что Пчелка вертится вокруг своей оси, пытаюсь укусить мать за руку, а с люстры на тонкой блестящей ниточке свисает огромный, похожий на утыканный спицами клубок шерсти паук. Вероятно, это было не так, но с моим восприятием что-то случилось, и пару минут я видел то, что нормальным людям видеть, в общем-то, не положено. Да еще горло болело. Страшно.

----.....? – произнес Генрих Миллер на непонятном языке, но с вопросительной интонацией.

– Что?

– Седрик, я спрашиваю, у тебя раньше были проблемы с сердцем? Или, может, эпилептические припадки?

Я помотал головой. От этого простого движения комната всколыхнулась, пошла маленькими волнами, точно апельсиновый сок в стакане, когда его взбалтываешь – и вдруг все разом встало на свои места.

– Как ты себя чувствуешь? – допытывался Генрих. – Встать можешь?

Фредерик подозрительно скосил взгляд на моего друга:

– Вы подрались?

– Нет, почему? – ответил я за Морица. – Нормально. Да, могу, – и действительно сел на диване, опустив ступни на пушистый ковер.

Мартина Миллер посадила Пчелку рядом со мной, но та сразу же вспорхнула и ускакала в другую комнату. Взрослые

вышли за ней. Через приоткрытую дверь до нас долетали их голоса:

– На мальчишку Янсонов кто-то напал... он не хочет говорить... стесняется того, что ему сделали?

– А что ему сделали? Ты думаешь... э... Да нет.

– Может быть, приступ клаустрофобии? Зачем-то полез в эту бочку... глупый. Все мальчишки глупые в таком возрасте.

– Его, говорят, дома бьют почем зря... Кто?.. Да все знают... В школу приходит в синяках...

Это было уже слишком. Я вскочил, пунцовый от возмущения. Схватил Морица за руку и поволок за собой к выходу. Но не на кухню, где велся разговор, а через террасу на двор и за калитку.

– Какого черта? Какое их собачье дело? Их вообще... – я задышался, горло как будто стянул огненный обруч. – Их совершенно не касается...

– Седрик, у тебя на шее кровоподтеки, – возразил Мориц. – И что, по-твоему, должны подумать Миллеры? Одно из двух: либо тебе ребята накостыляли, то есть, скорее всего, мы, потому что рядом больше никого не было. Или маньяк напал. Или родители избили. А мать у тебя уже замечена в рукоприкладстве. Так что зря ты кипятишься. Они нам помогли.

– Да понимаю, – прохрипел я, инстинктивно оттягивая ворот тенниски. – Неприятно просто.

– Еще бы.

Я заметил, что солнце успело перевалить зенит и так далеко сместиться к западу, что его нижний край расплющился о резной конек дома Миллеров. Неужели я провалялся в обмороке полдня? В прозрачном предзакатном свете кошачьа трава под ногами казалась облитой жидким серебром. Я знал, что стоит прищуриться, и можно увидеть под ней мертвую землю, черное зияние, гниющий рубец. Но не хотелось.

Над лужайкой сгустилась тишина. Ни пения птиц, ни стрекота кузнечиков, ни сочного гула шмелей. А ведь как их много в это время года, в жаркую сухую погоду – этих мелких насеко-

мых. Ветви березы слегка колышутся на ветру – но беззвучно. Ни шелеста, ни шороха. Как будто у меня лопнули барабанные перепонки. Если закричать – услышу ли я свой крик?

– Слушай, а где Хоффманы? – спросил я нарочито громко.

– Сбежали, – передернул плечами Мориц. – Перетрусили. Когда ты катался по траве, вцепившись себе в горло, зрелище было еще то.

– Я ничего не помню.

– Может, и правда, приступ этой, как ее...

– Клаустрофобии? Вроде никогда не страдал... С другой стороны, я и в бочки никогда раньше не лазил. Вот только... Мориц, нам надо все обсудить. Но не здесь. Мне тут как-то...

Я запнулся, сам не зная, каково мне стоять возле бочки – чем бы она ни являлась в действительности. Страшно? Больно? Одиноко? Я, перечитавший к своим двенадцати годам целую уйму книг, еще не ведал в тот момент, что испытанное мной чувство на самом деле называется красивым французским словом – дежавю.

Мы договорились переночевать сегодня у Морица. Его родители обычно не возражали – они относились ко мне хорошо, считали неглупым, развитым мальчиком. Думали, что я оказываю на их сына хорошее влияние. В семье моего друга царил культ интеллекта, и каждый с IQ выше ста двадцати автоматически становился там желанным гостем.

Мои предки, как ни странно, тоже не имели ничего против. Мать цеплялась ко мне и начинала воспитывать, только когда я попадался на глаза. В остальное же время я мог проваливать на все четыре стороны. Отец, как правило, отпускал шуточки типа: «У девчонок надо ночевать», а потом добавлял что-нибудь этакое, от чего я краснел не только лицом и шеей, а с макушки до пят.

Несмотря на папины некрасивые остроты, я любил бывать у Морица. Его мама готовила не хуже Фабио, хоть и попроще, и всегда старалась положить мне кусок покрупнее. Может быть, она подозревала, что я дома голодаю. Я от природы худой, но

не из-за того, что мало ем, а потому что у меня кость тонкая. Отец развлекал нас с Морицем умной беседой, ненавязчиво проверяя нашу эрудицию. Наверное, нехорошо так говорить, нечестно по отношению к моим родителям, но в семье Бальтесов я чувствовал себя гораздо лучше, чем в своей собственной.

А потом я и Мориц забирались на чердак, бросали на пол старые матрацы и, лежа голова к голове, полночи перешептывались о самом сокровенном, часто о таком, о чем ни за что не решились бы говорить при свете дня – пока сон не обрывал наш странный диалог. Это чем-то смахивало на телепатию – наши губы шевелились, но слова текли беспрепятственно из мозга в мозг, сплетаясь в причудливый смысловой орнамент. Как будто мы – не два болтающих перед сном мальчика, но единое разумное существо, этакий двухголовый дракон, который обдумывает сам в себе важные для него вещи. Сквозь узкое наклонное окошко под самым потолком в комнату заглядывала наглая луна. Я видел, что ей очень хочется подслушать наш разговор, но мысли бежали так тесно, что мы сами не понимали, где чьи, а луне все никак не удавалось вклинить между ними свой любопытный взгляд.

В тот вечер фрау Бальтес подала на ужин картофельную запеканку. Рассыпчатую, с грибным соусом, но я почти не мог есть. Горло сдавило, как при ангине, и каждый кусок пропихивался в него с трудом. На языке растекался железистый привкус крови. Я мучился, стараясь не показать, как мне больно, и мечтал о глотке сладкого чая. Не горячего, а теплого, как парное молоко, а лучше, если с ложечкой меда.

Вокруг шеи я повязал газовую косынку маман («Ты хоть педерастический платочек сними, сын, не позорься, эх-хе-хе», – прокричал мне вслед отец, ухмыляясь), а перед этим внимательно изучил в зеркале синюшную припухлость и темно-красные следы, словно от когтей животного. «Неужели я сам себе такое сделал?» – недоумевал я, разглядывая свои коротко остриженные ногти. Я скорее согласился бы поверить во что угодно – в клаустрофобию, эпилепсию, сердечную не-

достаточность, чем признать очевидное. Наша игра в инопланетный корабль на самом деле не была игрой. Мертвая земля вокруг дома Миллеров нам не почудилась. В бочке действительно сидела Мерзость и чуть не убила меня.

– Седрик, – спросила фрау Бальтес, – а скажи-ка, кто твой любимый писатель? Есть у тебя такой, которого по много раз перечитываешь? Вот просто так, для души?

– Рю Мураками, – брякнул я, думая совсем о другом.

Фрау Бальтес от удивления чуть не выронила блюдо, а ее муж многозначительно посмотрел на Морица, словно говоря: «Твой приятель – очень непростой парень. Не по годам умен, читает серьезную литературу, так что бери с него пример».

Дождавшись, когда отец отвернется, Мориц выразительно постучал себя указательным пальцем по виску. Я беспомощно развел руками. Пантомима не укрылась от внимания фрау Бальтес, но та только благодушно улыбнулась:

– Секретничаете, мальчики? Только долго не болтайте, а то завтра проспите до часу.

Знала бы она наши секреты...

На чердаке казалось дымно от висящей в воздухе пыли. Не такой, как на улице, а чуть горьковатой, пахнувшей сухим деревом и старыми книгами. Мы не стали включать свет, а просто стянули матрац с кровати Морица и выволокли из чулана второй – для меня.

– Хорошо, что ты здесь, – пробормотал мой друг, заползая под одеяло. – Мне уже две недели снятся кошмары. Такие, что я просыпаюсь от собственного крика.

– Давай попробую угадать, что тебе снится? – предложил я. – Зачем ты держишь здесь вот это?

Под кроватью, у самого изголовья, лежал пухлый, похожий на амбарный журнал томик с полустертыми готическими буквами на обложке. Из него робко выглядывал заложенный между страниц фонарик.

– Во сне читаешь, что ли? Как побивают камнями, протыкают вилами и сажают на муравейник? Еще бы ты не кричал.

– Знаешь, я не понимаю, как один человек ухитрился обрати таким количеством легенд? – сказал Мориц и под одеялом взял меня за руку. – Ну бродил он по этим местам... Сколько лет? Десять, двадцать? Может, и меньше. Говорят, Кукольник погиб молодым.

Я кивнул и закрыл глаза. Жесткие волосы Морица щекотали мне висок.

– Я почему-то все время думаю о нем. Пытаюсь представить, каким он был на самом деле. Как жил, как умер. Боялся он или нет, когда показывал на сцене то, что точно никому не могло понравиться.

– Я тоже, – признался Мориц. – Думаю, что да. Я боялся бы на его месте.

Наши голоса сами собой упали до шепота, сделались невесомыми и легкими, как две сонные бабочки, кружащие вокруг толстого стеклянного плафона. Я даже различал тихий шорох крыльев и тонкое дребезжание стекла. В то же время слова Морица звучали внутри меня так, как будто он стоял и лучом фонарика водил по лабиринтам моей памяти. И все, на что падал свет, представляло с неожиданной, пугающей стороны.

– Седрик, что с тобой случилось?

– Сам не знаю. Там что-то было – в бочке. Мерзость. Сидела, и как только я туда заглянул – напала на меня.

– Мерзость. Вот это ты точно придумал. Мерзость и есть. То, что снаружи красивое, а изнутри злое.

– Это не я... Это маман сказала. В смысле, про Кукольника, что он показывал людям всякую мерзость.

– Он показывал людям их самих такими, какие они есть. Если правда называется мерзостью... – Мориц резко рванул одеяло к себе, отодвинулся от меня и сел. Монолог разумного дракона прервался. Мы опять превратились в двух испуганных подростков. –...тогда этот мир обречен! – закончил он с пафосом.

– Да брось, – мне почему-то захотелось включить свет, но я лежал, свернувшись в комок и держась за распухшее горло, и не мог пошевелиться. Веки слипались, меня клонило в

тяжелый сон. – За мир мы еще поборемся. А вот что делать с Мерзостью, я имею в виду, с той, космической? Наверное, мы должны рассказать взрослым? Ведь она опасна.

– Ага. И что ты собираешься рассказывать, умник? Как вылил дождевую воду из бочки? Считаешь, это кого-то заинтересует? У взрослых достаточно своих проблем, чтобы вникать еще и в наши игры.

– А мертвая лужайка? Ты же сам видел. А коза?

– Что лужайка? Мало ли что детям померещилось, – резонно возразил Мориц. – И что коза?

Я понял, что он прав. Действительно, что коза? Мы так и не узнали, что с ней случилось. Мало ли, что имел в виду Фредерик.

«Надо пойти завтра к Миллерам и спросить про козу. Обязательно, это важно», – подумал я засыпая.

Во сне я продолжал чувствовать, как ворочается рядом Мориц, как храпит этажом ниже его отец – сначала тихонько втягивает воздух через нос, а потом выпускает длинную свистящую руладу, так что занавески на окне колышутся, – и как бродит, вздымая сор и пыль, грустный ветер по дорогам Оберхаузена.

## Глава 3

Но выведать у Миллеров хоть что-то о судьбе злополучной Белоснежки нам так и не пришлось. Уже по пути к их дому мы услышали шум и крики. Я как будто различал резкий неприятный фальцет Генриха, молодой басок Фредерика, истеричные восклицания Мартины и надрывный – такой, что самому впору разреветься от тоски, – плач маленькой Пчелки. Потом средний сын Миллеров – Паскаль – проволоком мимо нас по дороге нечто бесформенное и наполовину освежеванное, привязанное за веревку. Слипшийся от крови мех зверька густо посерел от пыли, но мне все равно казалось, что изначально он был скорее рыжим, чем белым.

– Это не коза, – сказал я с недоумением.

– Конечно, нет, – отозвался Мориц, – потому что это кошка Фабио.

Теперь и я заметил свернутую на сторону кошачью голову с единственным остекленелым глазом цвета спелой мирабели. Второй вытек.

Мы проводили Паскаля удивленными взглядами, а Мориц извлек из кармана фонарик и тщательно изучил следы крови на дороге.

– Смотри.

Я озадаченно ковырнул пальцем влажную пыль.

– Что?

– Да не здесь! Вот, – лучом света он показал на обочину, – и сюда добралась.

Только тут я заметил разросшуюся вдоль заборов кошачью траву. Она спускалась по канавке от лужайки Миллеров, опоясывала заброшенный участок, полтора года назад выставленный на продажу, но так никем и не купленный, переползала на другую сторону улицы и тесным кольцом сжималась вокруг дома старика Герхарда Хоффмана – деда Марка и Лины. Этот весьма почтенный и уважаемый в поселке пожилой господин последние пять лет тихо и безобидно спивался. Его, когда-то энергичного и жизнерадостного, подкосили выход на пенсию, смерть жены, а затем и глаукома – он очень плохо видел. Но мы, дети, его любили. У старика всегда находилась для нас доброе слово и морковка с грядки, заботливо очищенная от жирной земли и обтертая полой застиранной байковой рубашки. Огород был его последней страстью. Раньше Герхард Хоффман выращивал там что только можно – длинные китайские кабачки, огурцы, цукини, свеклу, паприку, клубнику и еще много всего, даже сахарный тростник. Часто мы видели его склоненную над рядами саженцев лысую, как тыква, голову. С тех пор как зрение старика начало сдавать, посадки понемногу скудели, так что в конце концов остались только репа и морковь – то, что требовало наименьшего ухода.

Я встал на цыпочки и заглянул через забор. Кошачья трава росла и там. Надежно скрывая овощную ботву и тонкими стебельками пробиваясь сквозь гальку садовой дорожки, она подступала к самому крыльцу дома.

– Бедняга Герхард, – произнес я с выражением. – Пропала его репка.

– Эта дрянь расползается, – тихо сказал Мориц. – Посмотри, земля под ней мертвая.

Я прищурился, и мир привычно нырнул в разноцветное сияние. Черные языки «больной» земли тянулись от особняка Миллеров, через пустой участок и через весь огород старого Хоффмана и охватывали следующий дом гигантскими клешнями. Нечеловечески обострившимся зрением я видел, что в другом направлении заражено примерно километра четыре дороги на Иллинген-Швиллинген и часть леса. По песчаной насыпи похожий на вымпел черный конус спускался к реке.

«Вот так, – сказал я себе, – это и случается. Вторжение. Без ядерных взрывов и пальбы из бластеров. Просто, исподволь, ни для кого не заметно. Если что и случается – то все можно объяснить недоразумением, чьей-то фантазией, несчастным случаем. Козу прохватил понос. Мало ли, живое существо. Миллеры зачем-то убили кошку. Подумаешь. Не человека же убили. Когда пойдем и спохватимся, станет поздно, потому что Мерзость распространится по всей Земле. А то и не спохватимся, не заметим. Будем жить, как раньше, как будто ничего не изменилось».

Мне вдруг совсем расхотелось идти к Миллерам и выяснять, что там у них стряслось, но Мориц схватил меня за рукав и потащил вперед. Когда мы подошли, хозяева как раз садились в свой форд – трясущийся Генрих, Фредерик и его брат Аксель и заплаканная Мартина с окутанной одеялами Пчелкой на руках. Девочка устало всхлипывала и как-то странно дергалась всем телом, от чего ее торчащие из кулька светлые локоны подрагивали, и по гладким бортам машины пробежали шустрые солнечные зайчики. Фредерик и Аксель громко чертыхались

непонятно в чей адрес. До меня долетали только сумбурные обрывки фраз: «... убью эту тварь! Шею сверну подонку...», «Я на него в суд подам, я это так не оставляю...», «распустились...», «И какого дьявола они делают у нас в Германии, эти чертовы иностранцы?» Последний пассаж до тошноты напоминал ежедневные причитания моей маман. От мгновенного чувства узнавания у меня даже заньли зубы.

Возле дома стояло несколько соседей, и в том числе близнецы Хоффманы. Кое-кто сочувственно поддакивал словам Фредерика, кто-то разводил руками.

«Эта тварь – явно не кошка, – мелькнуло у меня в голове, – потому что ей уже свернули шею. Похоже одним убийством тут не обойдется».

Генрих завел мотор, и форд, обдав нас облаком пыли, укатил прочь. Мы подошли к Марку и Лине.

– Привет, – быстро сказал Мориц, пожимая руки друзьям. – Что тут происходит?

– К-к-кошка... Ф-фффф... – Марк – вероятно, с перепугу – забыл, что надо говорить нараспев, и заикался так, что ничего не удавалось разобрать.

– Кошка бразильца напала на Пчелку, – бойко ответила Лина и положила брату ладонь на плечо. – Чуть глаза ей не выцарапала, все лицо изодрала.

– О! – воскликнули мы с Морицем почти одновременно.

– Наверное, шрамы на всю жизнь останутся. И вроде один глаз задело, я точно не поняла, – объяснила Лина. – Фредерик грозит убить Фабио.

– Я слышал, – кивнул Мориц. – Это все она, Мерзость.

Марк и Лина переминались с ноги на ногу, а я опустил взгляд и ковырял носком кроссовки темное пятно в пыли. Оно казалось похожим на спрута. Вероятно, здесь казнили кошку, а может, это была кровь девочки.

«Жалко Пчелку, – угрюмо размышлял я. – Как ее на самом деле зовут? Лиза... Бедный ребенок... Но ведь и Фабио ни в чем не виноват. Должно быть, кошка наелась чертовой травы. Или

в девочке появилось что-то такое... новое и чуждое. Какие-то споры Мерзости в ней проросли. Ведь животные все чувствуют, не то что люди».

– Не убьет, – уже спокойнее выговорил Марк. – Со зла грозился.

– И что будем делать? – спросила Лина беспомощно.

Почему-то все посмотрели на меня. Так, как будто я заварил всю кашу, и – главное – я один знал рецепт, как жить дальше.

– Может быть, написать в газету? – предложил Марк.

– Написать можно хоть бундесканцлеру или генеральному секретарю ООН, – вздохнул Мориц, – но сделать это должен взрослый. Подростков никто не примет всерьез.

Мы нехотя согласились. Это только в фантастических романах дети в одиночку или группами вступают в схватку с космическими захватчиками и спасают Землю. Приятно, конечно, почувствовать себя храбрецами и героями, да только какие из нас герои?

– Попробую поговорить с матерью, – сказал я. – Не уверен, что будет толк, но попробую. В худшем случае схлопочу оплеуху. Думаю, я ее заслужил, как и, впрочем, каждый из нас.

Как я и боялся, разговора не вышло. Стоило мне заикнуться о космическом корабле на лужайке, как мать тут же на меня зашикала.

– Седрик, тебе двенадцать лет, а в голове глупости, как у пятилетнего! В твоём возрасте не играть надо, а об учебе думать, ну и о будущем. Господи, ну что из тебя вырастет?! – и посмотрела на меня так, что я понял: последний вопрос не риторический и требует немедленного ответа. Иначе плохо будет.

Я неуверенно пожал плечами.

– Не знаю, мам. Наверное, как из всех.

– Вот именно! Станешь таким же, как эти... – маман брезгливо поджала губы, и мне осталось только гадать, кого она имела в виду. Догадаться, впрочем, было несложно, потому что презрительным словечком «эти» мать называла весь род человеческий.

Я открыл рот, чтобы возразить, и неизвестно, до чего бы мы в конце концов договорились, но в этот момент с работы вернулся отец, и мы втроем отправились ужинать. К Фабио.

За полквартала до «Perle» меня захлестнуло и повлекло разлитое в воздухе ощущение праздника. Что-то неуловимое, пока еще не обоняемое и не слышимое, а только предугадываемое: запах вкусной еды, веселый смех, дробный стук каблуков по паркету. Должно быть, мать с отцом тоже это почувствовали, потому что переглянулись и ускорили шаг.

Из ресторанчика доносилась музыка, а чахлая липка у входа расцвела желтыми и синими флажками. Сам Фабио, нарядно одетый, в мягком белом пиджаке и с галстуком – торжественный, как никогда – стоял у двери с тряпкой в руке и оттирал кем-то намалеванную свастику и надпись «Черная обезьяна, убирайся вон, в свою...». Дальше было уже смыто.

– Добрый вечер, фрау Янсон, – улыбнулся Фабио. Если чья-то хулиганская выходка и расстроила его, то виду он не подал. – Здравствуйте, господин Янсон. Привет, Седрик. У нас небольшое семейное торжество. Моя сестра из Швиллингена вышла замуж, и я решил устроить в честь нее вечеринку в тесном кругу...

– О! Да, конечно... – разочарованно пробормотали маман с отцом, но Фабио улыбнулся еще шире:

– Добро пожаловать.

В маленький зал ресторанчика набилось, наверное, человек сто. Не только бразильцев, но и немцев. Некоторых я узнал, но большинство были мне не знакомы. Столики Фабио сдвинул вместе, так что получилось два длинных стола, которые он расположил вдоль стен, и еще в середине осталось место для танцев. На освободившейся площадке лихо отплясывали высокая женщина в кремовом платье и невзрачный парень, почти на полголовы ниже нее. Почему-то я сразу решил, что это и есть новобрачные. Мне они показались не очень молодыми.

Столы ломились от салатов и закусок. Фабио, исполнявший одновременно роль диджея, хозяина и официанта, сно-

вал туда-сюда, предлагая гостям коктейли. На крошечной сцене, обычно задернутой бархатными занавесками, а сейчас открытой и ярко освещенной, громоздились две черные колонки, из которых легкой искрящейся дымкой наплывали ритмичные мелодии. А рядом с колонками моя бразильская ровесница показывала кому-то сидящему или стоящему внизу шаги самбы. Раньше я считал, что все бразильцы смуглые и черноволосые, как Фабио, но у этой девочки была светлая кожа и волосы – золотые, словно одуванчики на лугу. Каждое танцевальное движение она комментировала короткой фразой, но из-за общего шума я не мог разобрать ни слова и даже не понимал, на каком языке она говорит: на немецком или на бразильском.

Наверное, в магии первого взгляда всегда есть что-то от любви. Я забыл про свой коктейль и все смотрел на золотоволосую девочку, а как только маман увлеклась разговором с соседкой по столу, улучил минутку и взбежал на сцену.

– Привет! – сказал я. – Научишь меня тоже? – Потом засмелся и представился. – Седрик.

Девочка опасно протянула мне узкую ладошку:

– Глория.

Через пять минут мы с ней болтали, как старые приятели. Я учился танцевать самбу – без особого успеха, но меня это не смущало – и сам учил Глорию какой-то дикой смеси польки и рэпа. При этом мы оба хохотали до упаду и рассказывали друг другу о школьных учителях, о родителях, о любимых группах и Бог знает о чем еще. До самого конца праздника – а продолжался он до утра – я так и не вспомнил ни о казненной кошке, ни об искалеченной Пчелке, ни о том, что вчера по нашей вине вышло из бочки на белый свет, ни о полустертой надписи на дверях ресторана. Туда, где царит радость, Мерзость проникнуть не может. Но человеческая радость мимолетна. Она не длится вечно.

Прощаясь с Глорией, я еще раз по-дружески стиснул ее руку, слабую, как крылышко птицы.

– Давай завтра встретимся и еще поболтаем? Я покажу тебе Оберхаузен, а еще можно сходить на речку искупаться, – предложил я. – Завтра будет жаркий день.

– Нет, – ответила Глория, тряхнув волосами, и солнечные искры веером разлетелись по стенам, столикам и по темному дубовому паркету. – Ничего не получится. Завтра я уезжаю домой, в Гамбург.

## Глава 4

Странно засыпать, когда вместо черноты за окном – расцветная мутная зелень. Но я все равно лег и подрых почти до полудня. Проснувшись, вскочил как ошпаренный и, перехватив на кухне бутерброд, отправился напрямик к дому Миллеров. Меня влекло туда, как убийцу к месту преступления. Да еще свербила где-то под ложечкой тусклая надежда, что за ночь все неким волшебным образом исправилось, и в красивом особняке весело распевает Пчелка, а бочка стоит на газоне, полная серебряной дождевой воды. Обычной дождевой воды, а не густой космической Мерзости, при одном воспоминании о которой сводит скулы и на лбу выступает испарина.

Конечно, я надеялся зря – все осталось по-прежнему. Дом утрюмо молчал, кутаясь в пыльное дневное марево. Над лужайкой висела все та же гнетущая тишина. Кошачья трава доходила мне почти до колена. Она как будто росла на глазах – единственное живое существо в бескрайнем мертвом мире, злое и целеустремленное.

А когда я прищурился, пытаюсь рассмотреть излучение земли, мне захотелось кричать от страха. Казалось, под газоном, в том самом месте, где на боку лежит опрокинутая бочка, сияет огромное черное солнце, и его лучи расходятся во все стороны, затопляя весь поселок – не светом, а некой противоположностью света. Вот на что это было похоже.

«Стоп, – сказал я себе. – Подожди, не впадай в панику. А ты уверен, что это хоть что-то значит? Да мало ли что там внизу, под Оберхаузенем – подземные пустоты, залежи руды или каменного угля, грунтовые воды. Может быть, Мерзость тут совсем ни при чем. Может, и нет на самом деле никакой Мерзости, а ты с друзьями просто все придумал, играя. Придумал, да и сам поверил?»

Я стоял, обливаясь потом под горячими лучами настоящего, «верхнего» солнца, и чувствовал себя невероятно глупым и в то же время кем-то или чем-то прощенным, сбросившим с плеч тяжкий груз вины. «Да, – убеждал я себя, – да, мы все выдумали. А то, что стряслось с Лизой Миллер, – это несчастный случай, и только. Нет здесь никакой связи».

– Седрик, ты слышал?

Я задумался и не сразу заметил Морица. Он приблизился так бесшумно, словно звук его шагов впитала мертвая земля, а может, так оно и было. Мой друг запыхался и взмок, будто пробежал по жаре не один километр, и, только взглянув на его лицо, я понял, что дело дрянь.

– Да говори уже! – напустился я на него гораздо более грубо, чем следовало. – Извини. Я не хотел. Мне что-то не по себе после вчерашнего.

– Старик Хоффман повесился, – сказал Мориц, прерывисто дыша. – Сегодня ночью, в собственной кладовке.

– Что? – опешил я.

«Ну вот, – спокойно произнес кто-то взрослый и мудрый внутри меня. – Тебе нужны еще доказательства?» – «Нет, не нужны, – ответил я ему».

– Ты что, с луны упал? Об этом весь поселок говорит. Его нашла мать близнецов, уже всего синего, и язык вот так вывалился... – он скривился на сторону, запрокинул голову и вывернул шею, пытаясь показать как. Получилось, и правда, похоже на висельника.

– Ради Бога, Мориц, не надо! Ты видел Марка и Лину?

– Как раз к ним собирался... Пойдем вместе?

Мы быстро спустились вниз по улице, боязливо миновали запустевший огород старика Герхарда и, оказавшись перед домом Хоффманов, увидели, что тот почернел до самой крыши. Только на черепице подрагивало, точно тень листвы на песке, несколько светлых пятен, да от печной трубы отражалось солнце. Нет, на вид это был все тот же аккуратно выбеленный домик с оранжевыми наличниками, разноцветным балконом и красными плетями герани, свесившимися из цветочных ящиков. Но взгляд проваливался в него, и если смотреть долго и пристально, возникало ощущение, что стоишь на краю пропасти.

Марк и Лина сидели, обнявшись, на ступеньке – как два воробья на жердочке, – и глаза их казались большими и яркими, точно полными непролитых слез. Хоть я и не знал, какво это – потерять дедушку, но представил, как бы чувствовал себя, случись что-то с маман или отцом, и мне стало очень жалко близнецов Хоффманов.

Мы мялись, не зная, что сказать.

– Это Мерзость виновата, – произнес, наконец, Мориц.

– Нет, – всхлипнула Лина, – это мы... мы очень редко его навещали последнее время. Он совсем плохо видел, не мог себе даже кофе сварить, – и вдруг, уткнувшись брату в плечо, беззвучно заплакала.

– Оставь их, – прошептал я.

Возвращались мы молча, думая каждый о своем, хотя наверняка – об одном и том же. Я проводил Морица до дома. Как ни удивительно, его участок выглядел почти нормально – с двумя тонкими черными дорожками, ведущими от калитки к крыльцу и потемневшей половиной гаража. Да и чернота не казалось такой уж чернотой – скорее, легкой серостью. Что-то вроде влажной туманной дымки. Супруги Бальтес не утруждали себя возней в огороде, отчего весь участок затянулся сорняками, так что и не разобрать было, где там крапива, где бурьян, а где кошачья трава.

Перед калиткой мы с Морицем минут десять пожимали друг другу руки и торжественно клялись «достучаться до взрослых, пока не случилось еще чего-нибудь».

– Я поговорю со своими, – пообещал Мориц. – От Хоффманов сейчас мало проку.

– Это точно, – согласился я. – Вчера пытался рассказать матери, но она даже слушать не стала. «Тебе, Седрик, двенадцать лет, а в голове одни глупости», – передразнил, подражая голосу маман. – А, с ней бесполезно, – я махнул рукой. – Никогда меня не слушает, как будто я пустое место. Да еще норовит, чуть что, ноги вытереть. Подловлю после работы отца.

– Сегодня суббота, – сказал Мориц. – Какой-то ты разобиженный.

– А, тьфу, конечно. Я и забыл. Тогда без проблем. Сам не знаю, настроение поганое.

– Надо следить за собой, – проговорил Мориц, глядя мне в глаза. – А то Мерзость и в нас проникнет. Если не будем сопротивляться.

И опять я вынужден был признать, что он прав. Думать о близких людях плохо – самый верный способ открыть дорогу Мерзости. Не успеешь оглянуться – и сам почернеешь.

Увы, все оказалось совсем не так просто, как мы думали. Пока я добрался до дома, случилась еще одна неприятная вещь. Настолько неприятная, что окончательно выбила меня из колеи.

Я как раз проходил мимо овощного магазинчика господина Ли, когда услышал топот бегущих ног, и в облаке пыли прямо на меня выскочил растрепанный Фабио в одном ботинке и без пиджака. За ним гналась целая толпа мужчин: братья Миллер, отец Лины и Марка Хоффманов и еще несколько человек, в том числе незнакомый пожилой господин, которого я недавно видел вместе с девушкой в ресторане. Сейчас он выглядел далеко не так благообразно, как тогда, вдобавок размахивал над головой толстой велосипедной цепью. Другие потрясали метлами, палками, граблями, лопатами – кому что под руку подвернулось.

– Седрик, помоги! Позвони в полицию, – кинулся ко мне Фабио, и мы вместе с ним вломились в лавочку Часовщика,

чуть не высадив при этом стеклянную дверь. Там, на конторке в углу, между лотками с помидорами и свеклой стоял доисторического вида телефонный аппарат с цифровым диском. Пока Фабио, запинаясь от страха, пытался что-то втолковать невозмутимому китайцу, я бросился к телефону и снял трубку.

Набрать номер мне не дали. Ворвавшиеся вслед за нами в магазин Паскаль и Фредерик Миллеры схватили жертву за волосы и, осыпая пинками, выволокли на улицу, а благообразный – то есть совсем уже не благообразный – пожилой господин вырвал у меня из рук телефон и с размаху грохнул его об пол. Меня он отшвырнул в угол, как щенка. Господина Ли тоже.

Я думал, что Фабио линчуют на месте, как линчевали когда-то несчастного Кукольника, и, плохо соображая, что делаю, рванулся ему на помощь. Но на плечо мне легла тяжелая рука Часовщика.

– Не торопись под палки, Седрик. Успеешь. Твой час еще не настал.

Я поднял взгляд. Всмотрелся в его круглое, похожее на испещренную горными хребтами и кратерами луну лицо, и понял, что он очень старый. Гораздо старше, чем говорил о нем Марк. Его шея – цвета слоновой кости – походила на древесный ствол со множеством годовых колец, а глаза, гладкие и блестящие, как черные агаты, должно быть, видели строительство Великой Китайской Стены.

В них – в этих глазах – я прочитал неожиданное: понимание, мудрую печаль и – почтение. Как будто не двенадцатилетний парнишка стоял перед ним, а равный ему. Он даже мое имя «Седрик» произнес необычно, раскатав на языке, словно древний свиток: вроде бы мое имя и в то же время совсем другое. Точно не по имени назвал, а благословил на своем странном наречии.

«Вот кому можно рассказать обо всем, – почувствовал я. – Про Мерзость, про Кукольника, про Пчелку и про Фабио... Только нет смысла ему рассказывать – он и так все знает. Да еще много сверх того».

Сквозь пупырчатую, с розовой поволокой витрину мы видели, как Фабио посреди улицы топтали ногами, лупили черенками от лопат, таскали за волосы, а распоясавшийся старик все норовил заехать ему каблуком в пах.

– Господин Ли, но мы должны, – пролепетал я, – как-то позвать на помощь. Они забьют его до смерти.

– Авось, не забьют, – спокойно ответил Часовщик. – Он всего лишь владелец ресторана. Его могут простить. Тебя не простят, Седрик.

Пронзительный женский крик – я не разобрал, чей – распугал толпу. Мужчины перестали бить Фабио, подхватили лопаты и торопливо разбрелись, продолжая громко ругаться и выкрикивать угрозы в адрес бразильца и всей его родни.

– Так что не дергайся. А то хочешь, – китаец хитро прищурился, и от этого по лицу его прокатилась волна тонких мимических морщин. Словно над холмистой долиной засияло солнце, – могу взвесить тебе...

Я пулей вылетел из магазинчика. Когда бы ни пришел мой час, знать о нем заранее я не желал.

– Если надумаешь, заходи, – донесся мне вслед каркающий голос Часовщика.

Фабио сидел на земле. По его виску текла кровь, разорванная пополам рубашка болталась на смуглом теле грязными тряпками. При виде меня он замахал руками, словно говоря: «Иди дальше, не останавливайся». Может быть, боялся, что у меня будут неприятности, или стыдился своего жалкого вида. Не знаю. Не всегда можно догадаться, что у взрослых в голове. Но так или иначе я подчинился.

В таком маленьком поселке, как Оберхаузен, новости разлетаются быстро – ни дать ни взять вспугнутые мухи с кучи навоза. Не успел я переступить порог, а мать уже вышагивала взад-вперед по комнате и обсуждала с кем-то по телефону сегодняшнее нападение на Фабио, жеманно сетуя, что, мол, «от иностранцев нормальным бюргерам проходу нет». Отец примостился тут же, на диване, и кивал без воодушевления на

каждое ее слово. Хотя тот, с кем говорила маман, его кивков не видел все равно.

– Привет, – поздоровался я, но на меня никто не обратил внимания. Быть человеком-невидимкой иногда удобно, но порой это начинает раздражать.

– Да чтобы я еще когда-нибудь! – с непонятным мне пафосом говорила маман в трубку. – Да больше ни ногой в этот вонючий ресторанчик!

Что ж. Это значило, что обедов у Фабио больше не будет. Поскольку на мать надежды было мало, пришлось нам с отцом засучить рукава и встать к плите. Мы решили приготовить спагетти – просто, дешево и сытно. Бросай в кастрюлю и вари, а как разводить соус, написано на пакетике. Очень удобное блюдо.

– Пап, – начал я издалека, – неужели все из-за кошки?

– Какая кошка? – не понял отец.

– Я про Фабио.

– А... вот ты о чем. Да при чем тут кошка? *Cherchez la femme*, сынок, – по губам отца поползла ухмылка, та самая, которой он всегда заставлял меня краснеть.

– Э...?

– Вообще-то, ты еще маленький, но, как мужчина мужчине... – отец наклонился ко мне так низко, что его жесткие, как щетка, усы, кольнули меня в ухо. – Наш прыткий бразилец этой ночью завалил жену Патрика Клода. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Я задумался. Что отец хотел сказать словом «завалил», я догадывался. Но кто такой Патрик Клод? В Оберхаузене я знал каждую свинью, но про человека с таким именем никогда не слышал.

– Это кузен Генриха Миллера, недавно приехал с женой навестить родственников, – пояснил отец, словно подслушав мои мысли. А супруга... ха-ха-ха... с бразильцем...

Он сухо, с издевкой, рассмеялся. Надо же. Мне казалось, что мои родители в хороших отношениях с Миллерами. Но,

может быть, дело не в Миллерах и не в них. Я снова вспомнил про Мерзость, и мне сделалось тоскливо и муторно, как после долгой езды по кругу.

– Такой пожилой господин с бородавкой? – спросил я. – У него еще жена молодая, на учительницу похожа? Я видел их позавчера в «Perle». Этот хрыч... э... господин ее лет на сорок старше.

– На учительницу? – удивился отец. – В «Perle», говоришь, видел? Вот он глаз-то на нее и положил. Сын, это не наше дело, кто кого насколько старше. Патрик Клод – очень уважаемый человек.

Ну пусть так, подумал я. Пожалуй, фрау Клод легко понять – когда муж, хоть и уважаемый, но старый, а бразилец – ее ровесник, и внешне очень даже ничего, насколько я мог судить. Вот только не сходилось тут что-то.

– Пап, но ведь Фабио всю ночь был в ресторане, когда же он мог... э... эту фрау Клод? Мы сами там ужинали с мамой. Там еще праздник устроили бразильский. Свадьба сестры, ты помнишь? Он же все время был на виду, Фабио.

Отец макнул палец в соус, облизнул и вытер кухонным полотенцем.

– Все, сын, когда вода закипит, бросишь спагетти. Соус готов. Да мало ли как. Откуда я-то знаю?

– Его оговорили, папа! – закричал я в отчаянии и, видя, что отец собирается уходить, ухватил его за фартук. Тесемки развязались, и фартук остался у меня в руках. – погоди! Мне надо тебе кое-что сказать. Это важно! Я знаю, что происходит в Оберхаузене. Ты только выслушай! Мы с ребятами, с Морицем, то есть, и с Хоффманами, позавчера играли...

– Седрик, потом, – отмахнулся отец. – Потом послушаю про твои игры. Да и вообще, ерунда у тебя, сын, на уме. О серьезных вещах надо думать.

## Глава 5

— Конечно, пытался, – сказал я, – несколько раз. И с матерью, и с отцом. Не слушают они меня. А с кем еще я мог поговорить?

– С Фабио, например, – предложил Марк.

Со стороны дороги тянуло дымом и пылью. Оберхаузен изнемогал от жары. Сквозь прорехи в небе пробивались жесткие лучи ультрафиолета, обесцвечивая все вокруг, и мне казалось, что наш сарай – единственное место в мире, где еще стрекочут кузнечики и сено пахнет сеном, а не асфальтом и жженой резиной.

– Нет, не годится, – покачал я головой. – Поговорить-то с ним можно, а толку? Он теперь... как это?

– Аутсайдер, – подсказал Марк.

– Ауслендер<sup>1</sup>, – вставила Лина.

– Персона нон грата, – вспомнил я.

– Ух, какие ты слова знаешь, Седрик, – восхитился Мориц.

– Ладно, не издевайся. Твой-то что?

– А что мои? То же самое, – Мориц уставился поверх моего плеча на дорогу, словно сторожевой пес, который вроде бы дремлет, или ест, или занимается еще какими-то своими песьими делами, но при этом все время ждет от окружающего мира подвоха. – «Потом», «погоди, не сейчас, времени нет», «да что за глупости, Мориц».

Он перекатился на бок и порылся в кармане. К моему удивлению, извлек оттуда не фонарик, а коробок спичек и принялся поджигать сухую соломку на полу. Наблюдал, как занималось маленькое пламя, как ползло вверх по травинке, и, не давая ему набрать силу, накрывал горстью. Соломинка чернела, а пламя без кислорода гасло, вытягиваясь тонкой струйкой дыма. Такая вот извечная игра человека с огнем – кто кого. Раз за разом человек выходил победителем, но только потому, что огонек был слабым.

---

<sup>1</sup> Ауслендер (Auslaender – нем.) – иностранец, часто с презрительным оттенком.

– Взрослые, – протянул Марк, – все время куда-то бегут и суетятся. И не замечают, как мир гибнет.

– Ага, – согласилась Лина. – Мориц, ты хочешь устроить пожар? Или обжечь пальцы? Я тоже думала поговорить вчера с мамой. Но ей сейчас не до того. Так мне и сказала.

– И то и другое, – буркнул Мориц. – Понятно, что не до того. У нее отец умер. И много кто еще умрет, просто так, ни за что, если мы сейчас не устроим такой пожар, что вздрогнет весь Оберхаузен. Если нас не хотят слушать – то мы должны заставить их слушать, правильно?

Близнецы Хоффман почти синхронно закивали, а я вдруг засомневался.

– То есть ты считаешь, что сама по себе история достаточно убедительная, чтобы ее приняли за чистую монету? Потому что выслушать – мало. Надо еще поверить.

– А как расскажем, – передернул плечами Мориц. – Выхода-то у нас все равно другого нет.

– Убедительная, – ответил Марк веско, так, как будто говорил за всех.

Рассказать так, чтобы тебя выслушали и поверили – что может быть проще? И что может быть труднее? Особенно если ты – подросток, которого все считают фантазером с ветром в голове и потому не воспринимают всерьез. Мы долго решали, как быть, – до самого полудня, пока разыгравшийся в животах голод не выгнал нас из сарая, охрипших от спора, и не погнал вниз по дороге в сторону поселка.

– Вот, теперь я понимаю Кукольника, – произнес Мориц. Он шагал, сунув руки в карманы и невесело щурясь на красно-пегие крыши домов. Я знал, что он видит – Оберхаузен в щупальцах огромного черного спрута, – но сам не хотел на это смотреть. – Теперь я знаю, зачем он показывал свои спектакли. Его никто не желал слушать, а он должен был сказать людям что-то очень важное... А что, народ, это идея. – Мориц даже остановился и ладонью хлопнул себя по лбу. – Лина, ты сошьешь нам кукол?

– Мальчики, я не умею...

– Может быть, ты, Седрик?

Я энергично затряс головой.

– Марк?

– Не уверен, что сумею вдеть нитку в иголку, – честно ответил тот.

Он не притворялся. После той злополучной болезни пальцы у него сделались толстыми, будто кровавые колбаски, и неловкими – я несколько раз видел, как Марк напрягался, пытаясь взять в горстку какой-нибудь мелкий предмет со стола, и вены у него на шее вздувались синими жгутами. Куда ему шить?

– Эх, вы, – сказал Мориц. – Ну тогда придется... Седрик, как поживает сценарий для школьного спектакля?

Я сглотнул. Вопрос упал, точно камень в воду, всколыхнув знакомое ощущение дежавю. На протяжении одного-единственного мига я знал и то, что предложит Мориц, и то, что отвечу я, и все, что случится потом.

– Никак.

– Вот и принимайся за дело. Напиши все как есть: про Мерзость, про Пчелку, про Фабио... про Миллеров, – он искоса взглянул на близнецов, – и про Герхарда Хоффмана. Все-все.

– Я?

– А кто же еще? Сможешь, Седрик?

– Смогу.

Непонятно откуда взявшиеся уверенность и сила затопили меня. Вроде бы никогда не сочинял ничего подобного, если не считать маленькой сценки для рождественского утренника – да и та провалилась с треском. Но сейчас я чувствовал, что напишу такую пьесу, которая не снилась ни Альберу Камю, ни Жан-Полю Сартру. Да что там! И Сартр, и Камю казались школярами по сравнению – нет, не со мной, конечно, мальчишкой из небольшого немецкого поселка Оберхаузена – а с тем, что в тот момент жило во мне.

Мориц, видно, прочел эту странную уверенность в моих глазах, потому что положил мне руку на плечо – и жест его получился

робким, не спокойно-дружеским, как обычно. Не покровительственным. Наоборот, было в нем что-то от испуганного подобострастия Фабио и от мудрой почтительности господина Ли.

– Седрик, если хочешь, я мог бы дать тебе первую книгу про Кукольника. Все равно я ее уже прочел, и вторую тоже – собираюсь сегодня начать третью. Ну, я подумал, что ты мог бы как-то использовать...

– А я, – сказала Лина и залилась краской, так что даже мочки ушей под косичками сделались пурпурными, – могу одолжить тебе свой дневник. Я там все записывала, и про то, как мы играли с бочкой, и про дедушку, и про Лизу Миллер. Только там, где личное, – она покраснела еще гуще, – я загну странички – ты их тогда не читай, ладно?

– Спасибо, Мориц. Конечно, хочу. А дневник – не надо, я и так все помню.

Я и в самом деле помнил каждое слово. Кто сказал, что, когда и как. Кто и что при этом делал. Оставалось только перенести все на бумагу, выстроить сцены и распределить роли. Каждому – по две или по три. Мы решили не привлекать к спектаклю посторонних и каждый эпизод играть максимум вчетвером.

Лина – себя, с косичками и в джинсах. Если соберет волосы в пучок и возьмет в руки куклу – то Мартину Миллер. С газетой в руках и в байковом халате – мою маман, а в очках – фрау Бальтес. Марку в нагрузку достался Герхард Хоффман, Фредерик Миллер и господин Бальтес. Морицу – мой отец, Паскаль Миллер и Часовщик. Я согласился представлять на сцене себя и Фабио.

Марк сначала воспротивился:

– Я не буду играть деда! Я и петлю не завяжу так, как надо, и вообще боюсь. Не получится у меня.

– Да Боже мой! – испугался Мориц. – Никто не ждет от тебя, что ты по-настоящему повесишься. Это театр, тут все понарошку.

– Нет, – упрямо покачал головой тот. – Не понарошку.

На Марка такое иногда находит. Какой-то мыслительный ступор, и тогда с ним просто сладу нет. Наконец, нам удалось его уломать.

По пути я зашел к Бальтесам и одолжил у Морица книгу, а дома выпил стакан сока с бутербродом, переругнулся с маман и заперся у себя в комнате. Достал из ящика стола старые школьные тетрадки – в линейчку и в клеточку – и надергал оттуда чистых листов. На томике легенда поклялся, как на Библии, писать правду и только правду, какой бы мерзостной она ни была.

Пьесу сочинять легко. Слева пишешь, кто говорит, а справа – что говорит. Что может быть проще? Но, только приступив к делу, я понял, какие ужасные вещи люди говорят друг другу.

Строки медленно ползли по листу. Я мучился со своей перьевой ручкой, которая то корябала бумагу, то выплескивала на нее чернильные струйки.

«Тебя не простят, Седрик», – звучало в ушах предостережение Часовщика. «За что не простят? – сопротивлялся я. – В том, что происходит, нет моей вины. Я не преступник, а зеркало. Я желаю им добра». «Что ж, – зловеще предупреждал мой внутренний господин Ли. – Тогда пеняй на себя. Так как, взвесить тебе пару граммов? Много не могу, Седрик, извини».

«Да ладно, – соглашался я сам с собой. – Как получится. Ты ни при чем. Это моя судьба».

Из этой мысленной шелухи и мути, среди царапин и клякс рождались слова – такие бесстыдно-честные, что волосы у меня на голове вставали дыбом, а ладони чесались от пота.

Я просидел за работой до темноты – до глубокой ночи, пока мне не стало чудиться, что я – это не я, а кто-то совсем другой и нахожусь не дома, в собственной комнате, а в незнакомом месте. В черном саду тягуче капает роса с деревьев, а месяц как будто нарисован в небе тонким карандашом. Я склонился над листом бумаги – не над тетрадным, а над каким-то грязным клочком. Обрывок газеты? Обертка от сыра? Мои ноздри как будто различают слабый молочный запах. Я пишу – так стремительно, что болят пальцы. Во всем теле – холод и ломота. Ладони нестерпимо зудят, и хочется потереть их одну о другую, но я терплю, потому что боюсь разрушить что-то очень хрупкое и тонкое.

Совсем рядом хлопнула дверь, и громкий голос маман произнес:

– Да он еще не спит!

На страницу упала чернильная капля. Я встряхнулся – и наваждение прошло. Быстро потушил свет и лег в постель.

\* \* \*

На следующий день мы собрались в «нашем» сарае для первой репетиции.

– Готово? – спросил Мориц.

Я устало кивнул.

– Почти. Допишу по ходу.

– Тогда давай попробуем? – предложила Лина, выхватывая у меня первые три листка.

Остальное я вручил Морицу, и тот сразу погрузился в текст, водя по строчкам узким лучом фонарика. Это напоминало завершение некоего алхимического процесса. Через прикосновение желтого света слова обретали свою окончательную силу. – Лина... так, это я. «Ты обещал рассказать про Кукольника, Мориц». Ага, Мориц, теперь ты. «Я как раз читаю про него. У моего деда на чердаке есть пять или шесть книг, очень старых. Там даже шрифт готический».

Она продолжала бубнить себе под нос, а я наблюдал за Морицем. Его лицо постепенно темнело, одновременно покрываясь пятнами. Губы очертил резкий белый треугольник.

– Седрик... э... послушай. Во-первых, откуда ты все это знаешь? Ты что, лежал у Миллеров под кроватью? Такие вещи рассказываешь... А во-вторых, – он замялся.

– У нас будут неприятности? Не бойся. Я автор, значит, мне отвечать.

– Да что нам сделают? – поддержала меня Лина. – Мы – дети.

– Мориц, пожалуйста, прочитай до конца! – взмолился я. – А потом уже суди. Дураку полработы не показывают. Это я не про тебя, просто пословица.

– О'кей, – пробормотал мой друг.

Через полчаса он торжественно вернул мне листки.

– Дописывай, автор. А пока будем работать с началом. Черт возьми, Седрик, уж это их точно проймает! Давай, Лина.

– Ты обещал рассказать про Кукольника, Мориц.

– Я как раз читаю про него. У моего деда на чердаке есть пять или шесть книг, очень старых. Там даже шрифт готический.

– Как интересно, – заикаясь, прочел свою реплику Марк. Он был бледнее собственной футболки, а трясущиеся пальцы все время пытался засунуть в карманы. Но те почему-то оказались защищены. («Это его мама отучает руки в карманах держать», – шепнула мне Лина, хихикнув). – Одолжишь на пару дней?

– Она что, белены объелась? – шепотом спросил я Лину.

– Ага. Вчера весь день ругалась с папой из-за писем. Ну, тех, что в доме у деда нашли... – она вздохнула. Про письма я ничего не знал, но кивнул. – А потом отыгралась на Марке. Накричала на него и вот – карманы зашила.

Я заметил, что левое веко у Лины слегка подергивается. Чтобы скрыть тик, она то и дело подносила руку к лицу, делая вид, что поправляет волосы.

– Наверное, они разведутся. Папа вчера сказал, что не будет с нами жить.

Я понял, что дописывать придется много.

\*\*\*

Так и получилось. Жизнь в Оберхаузене постепенно превращалась в сплошной экшен. Скандалы, драки. Семейные ссоры – почти всегда с рукоприкладством. Родители Марка и Лины вскоре расстались. Мать переселилась в дом покойного старика Герхарда. Отец исчез из Оберхаузена. Моя маман говорила, что он переехал к родственникам в Баварию.

Я все чаще видел Марка с царапинами и синяками на скулах, а Лину сонной и зарезанной. Она жаловалась, что ночью не может сомкнуть глаз, потому что по дому бродит призрак деда и скрипит половицами.

– Он совсем слепой, – шептала Лина, и зрачки ее делались огромными от ужаса. – Ходит и тычется в стены.

Я аккуратно записывал ее слова в блокнотик, а потом встраивал их в сценарий, и тот разбухал, как губка, всасывая все новые и новые подробности. Из маленького, на полчаса, спектакля он превратился в полноценную двухактную пьесу, и я спрашивал себя: а дадут ли нам доиграть ее до конца?

Иногда, сидя ночью за письменным столом, я впадал в загадочное состояние нереальной реальности, как я его называл. Черный сад, пропитанный ночной росой – так, что хоть выжимай. Налипшие на оконное стекло звезды, луна в золотом венчике и дурно пахнущий клочок бумаги, который я лихорадочно покрываю даже не буквами, а мне самому непонятными знаками. В такие минуты я чувствовал себя почти таким же мудрым и старым, как Часовщик, и одновременно растерянным и беспомощным, как призрак старика Хоффмана. Все тело болело, как от побоев, а ладони зудели так сильно, как будто сквозь них прорезались крылья. Я даже стал подозревать, не подхватил ли где ненароком чесоточного клеща.

Через две недели мать Лины и Марка угодила в больницу с нервным срывом, и близнецы остались одни в большом гулком доме – втроем со слепым призраком. Зато у нас появилось новое место для репетиций. С начала августа зарядили дожди. Так что крыша над головой оказалась очень кстати.

С раннего утра мы собирались в гостиной у Хоффманов. Приносили с собой крекеры и картофельные чипсы, кипятили воду в большом самоваре («Трофейный, – хвасталась Лина. – Дед из России привез»). Мы смеялись и не верили: «Да не было тогда электрических самоваров!»). Заваривали чай в граненых стаканах и завтракали. Мориц ел без аппетита – его сытно кормили дома. Марк тоже едва притрагивался к угощению, зато я и Лина уплетали чипсы за обе щеки, так что хруст стоял.

Потом раскладывали на столе листки сценария или развешивали на стенах, прищипывая кнопками, и начинали репе-

тировать. Мы старались, как никогда раньше, так, как будто это – наш последний в жизни спектакль. Так, как будто на карту поставлен весь – когда-то добрый и уютный, а теперь враждебный и злой, но все равно наш – мир. Вероятно, так оно и было.

За Марка мы немного беспокоились – он сильно похудел за последние недели, побледнел и осунулся. Его некогда напевная речь утратила былую упругость, отошала и высохла, точно старая кобыла. Свои реплики Марк произносил с отчаянием идущего на казнь и то и дело срывался на заикание.

– Седрик, не мучай его, – вступалась за брата Лина. – Давай кого-нибудь другого возьмем или втроем справимся. Хочешь, я волосы подвяжу или спрячу под шапкой и сыграю деда? Мне все равно.

Но я оставался непреклонен.

– Нет, пусть Марк играет. Это его роль.

## Глава 6

**Ш**аг за шагом на маленькой импровизированной сцене – середине комнаты, огороженной стульями и мягкими диванными валиками – оживала трагедия маленького немецкого городка Оберхаузена. В то же самое время на большой сцене эта трагедия разворачивалась дальше. До нашей премьеры оставались две неполные недели, когда Лизе Миллер внезапно сделалось плохо. Шрамы воспалились, и у девочки поднялась температура. Появились судороги и слюнотечение, потом бред. Пчелка визжала и рвала на себе одежду, два раза укусила мать. В конце концов, ребенка увезли в больницу, а фрау Миллер теперь будут колоть антирабическую вакцину. Все это моя маман рассказала за ужином отцу, обильно сдабривая свою речь проклятиями в адрес бразильца. Я слушал, не смея поднять глаз от тарелки.

– Ну а при чем тут Фабио? – возразил отец, лениво тыкая вилкой слипшиеся макароны. – Это врачи виноваты, что не

сделали девочке прививку. Да и родители хороши. Взрослые люди, должны были знать. А кошка, между прочим, была немецкая, а вовсе не бразильская. Ее, видно, лисица укусила или енот. Их тут в лесу...

Он не успел договорить, потому что маман выгнула шею, точно очковая кобра, и зашипела на него. Я выскочил из-за стола и заперся в своей комнате.

Через три дня Пчелка умерла в больнице. Ее похоронили на старом поселковом кладбище, на полпути к Илленгену-Швиллингену, а вместе с ней – как мне тогда казалось – что-то очень важное: последние крохи доверия оберхаузенцев друг к другу, беззаботную солнечность лета, очарование наших простых игр и невинность моего детства. А еще через день ресторанчик «Die Perle» запыхал смоляным факелом – ярко и дымно – и ни мелкий августовский дождь, ни бестолковые пожарные не смогли его погасить. Он выгорел дотла.

Что случилось с самим Фабио, я так и не узнал. Погиб ли он при пожаре или сбежал из Оберхаузена – в городке говорили разное. Мне хотелось верить, что все-таки сбежал – и так я представил его исчезновение в последнем эпизоде спектакля – потому что нет ничего страшнее, чем играть на сцене чью-то смерть. В чем-чем, а в этом я был с Марком полностью согласен.

\* \* \*

Накануне спектакля – уже после того, как мы два раза отрепетировали пьесу на школьной сцене – Мориц ворвался к Хоффманам, вымокший до нитки, в уличных ботинках, которые забыл скинуть в прихожей. Лина только охнула при виде грязных следов на ламинате.

– Народ, я узнал! – он задыхался от волнения. – Я прочел только что... ребята, это никакой не космический корабль!

– А что же тогда? – спросил я тупо, все еще думая о Пчелке и Фабио.

– Это на самом деле бочка!

– И что?

Я ничего не понимал. Он так кричит, чтобы сказать нам, что бочка – это бочка?

– ... в которой утопили Кукольника.

Стало очень тихо – так тихо, как будто мы четверо, как по команде, перестали дышать. «Хоть бы часы тикали», – подумал я тоскливо. Но в доме Хоффманов не было часов. Потом вдруг громко, с облегчением выдохнул Марк.

– Т-ты уверен?

– Да, – ответил Мориц. – Уверен. Я с утра решил почитать, как только проснулся. Обычно так не делаю, но сегодня как будто потянуло, и книга сама открылась именно на этой странице. Так вот, там все написано – это одна из версий гибели Кукольника.

– Как можно утопить в бочке? – удивилась Лина.

– Очень просто. Нагнуть и держать голову под водой. Его держали несколько человек, пока он не нахлебался воды и не умер.

– А почему ты уверен, что это та самая бочка? – спросил я. – Мало ли их сколько.

Но я и так знал, что да, та самая, потому что на меня неожиданно нахлынуло знакомое серебряное удушье – до судорог, до боли в грудной клетке – такое, что и не закричать, и раздрающий мозг страх, и ощущение тупика в конце тоннеля. Пронзительный серебряный взгляд – глаза в глаза – и в мои легкие хлынула вода.

К счастью, на сей раз я не потерял сознание. Только стиснул зубы, а если и побледнел, то никто этого не заметил. Ребята обсуждали новость. Особенно радовался Марк.

– Значит, мы все это выдумали! Нет никакого космического нашествия, нет никакой опасности! Значит, завтра можно отменить спектакль!

– Как это отменить? – неуверенно сказала Лина. – Ведь мы репетировали... И Седрик старался, писал. Да и ребята с родителями будут завтра ждать. Хотя... – она оглянулась на Марка, – я бы не против...

– Что-нибудь придумаем. Например, что один из нас заболел или что нам обязательно надо быть в первый день в гимназии, – предложил Мориц. – Седрик, я тоже думаю, что надо отменить. У меня какое-то нехорошее чувство. Не могу описать точнее, но как будто что-то должно случиться – неприятное для всех нас. Мы ошиблись – давайте это признаем и закончим игру? А? Кто за?

Я вскочил на ноги, пошатываясь и сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. Слабая боль приглушила зуд, но только на миг, а в следующий момент у меня на руках как будто лопнули нарывы – мучительная чесотка прекратилась и вместо нее появилось ощущение жара и вытягивания.

– Я против! Мы будем играть! Вы – будете играть, и плевал я на ваши предчувствия. Ребята, да посмотрите вокруг, вы что, ослепли? Вам кажется, что в Оберхаузене все хорошо?

– Нет, не все, конечно, – растерянно забормотал Мориц. Куда девалась его харизма? Он выглядел нелепо, как повисший на ниточках тряпичный паяц – обтрепанный, жалкий, сложившийся пополам. – Просто я... я подумал, что раз нет никакой опасности... раз нет этой дряни из космоса... То и нам не надо предупреждать...

– Надо, – я резко вскинул руку, и голова Морица, дернувшись, безвольно запрокинулась. Оба движения получились настолько синхронными, что, не стой мы в разных концах комнаты, со стороны могло бы показаться, будто я его ударил. – Наше дело предупредить, а уж взрослые пусть сами решают – откуда берется мерзость этого мира.

Они послушно закивали – Мориц и близнецы Хоффман – сбились в кучку и прижались друг к другу, точно цыплята.

– Да, Седрик. Конечно, если ты хочешь... если ты думаешь, что это правильно, то мы будем завтра играть.

– Да, хочу!

Я вышел из гостиной, хлопнув дверью. Надел в прихожей кроссовки и ветровку, обмотал шею маминым платком. На улице холодно и промозгло, а у меня после первого столкнове-

ния с Мерзостью то и дело побаливало горло. Я был страшно зол и в то же время понимал, что никуда они не денутся – мои друзья – сделают, как надо, как я им скажу.

В коридор тенью выскользнула Лина и остановилась в трех шагах от меня.

– Седрик, – заговорила она торопливо, – ты понимаешь, Марк... он боится. Он думает, что действительно повесится завтра на сцене. Без всяких шуток. Он говорит, что во время репетиций плохо владеет собой – его как будто что-то ведет. Даже не ведет, он сказал – тащит, и он не может этому сопротивляться. И чем дальше – тем хуже.

– Глупости какие, – отозвался я раздраженно. – Отродясь не слышал такой чепухи, Лина. Завтра, после спектакля, мы над этим посмеемся. Вместе с твоим братом. А пока у меня всё. Повторяйте свои роли.

– Седрик, пожалуйста! – шепотом взмолилась Лина, нервно теребя косичку. Я смотрел на нее свысока, как когда-то на Пчелку – на маленькую девочку-пятиклашку в синем домашнем платице и белых босоножках. Неужели сам я так сильно вырос за две-три последние недели? – Ты не все знаешь. Мы вчера навещали маму в больнице, и...

– И как она?

Лина сглотнула.

– Получше. И мы зашли в лавку Часовщика, купить маме фруктов... а у того новые весы – аптечные. И он... он предложил Марку взвесить ему несколько миллиграммов...

– О! Э... видишь ли что... – протянул я, отводя взгляд, – это все ничего не значит. Тем более, что весы – другие. Но я спрошу Часовщика, вот прямо сейчас зайду к нему и спрошу, что он имел в виду. Хорошо? Иди, успокой Марка и скажи ему, – мой голос окреп, – что спектакль состоится. В любом случае. Все будет нормально – это я тебе обещаю.

Я сбегал с крыльца и сразу окунулся в колючую серую морось. Взвешенные в воздухе капли липли к одежде, как осенние паутинки, впитывались в кожу, делая ее холодной и взбухшей,

будто кожа утопленника. Прежде, чем отправиться в магазинчик господина Ли, я полчаса бродил по улочкам Оберхаузена. Прогулялся мимо бывшего дома Хоффманов – теперь пустого и запертого, в который раз осмотрел обгорелый остов ресторана «Die Perle». От забегаловки Фабио почти ничего не осталось – только черное, расплывшееся от дождевой воды пожарище и кусок обугленной сцены, где всего пару недель назад танцевала красивая бразильская девочка. Как ее звали? Глория... Я стоял, ковыряя кроссовком мертвую черноту. Какие-то гнутые палки – должно быть, ножки стульев... А это что такое? Похоже на кошачью миску, оплавленную по краям, утратившую форму и какой бы то ни было смысл. Я усмехнулся и отошел в сторону. Пучком влажной травы очистил ботинок. Насколько сумел.

Пора. Хватит терять попусту время – его и так немного осталось.

Старый китаец перебирал паприку. Гнилую выкидывал в помойное ведро, стоящее у его скрюченных ревматизмом ног, а хорошую выкладывал на прилавок, аккуратно заворачивая каждую штуку в прозрачную бумагу.

– Зачем вы напугали Марка, господин Ли? – начал я с порога и покосился на новехонькие блестящие весы, восседавшие на конторке вместо старых, антикварных. – Хотите сорвать наш спектакль?

Часовщик выпрямился, растирая поясницу, и мне показалось, что он притворяется. Ничего у него не болит.

– А разве его можно сорвать? Разве ты остановишься?

Привалившись спиной к стене, я уперся взглядом в носки своих ботинок, все еще покрытые черными разводами, перемазанные углем и золой.

– Нет.

– Ничто на свете не меняется, – прокаркал Часовщик, глядя на меня слезящимися вороньими глазами. – Сколько раз тебя убивали, Седрик Янсон? А ты все лезешь из шкуры вон за свою правду. Ее никто не хочет знать, неужели ты не понимаешь? И ребят погубишь. Их-то за что?

– Не погублю, – ответил я упрямо. – Все возьму на себя. Разве раньше я делал не так?

– Так. Да не всегда получалось. А, – он махнул рукой, – да что с тобой спорить. С тех пор как стоит этот мир, Кукольник не перестает умирать и рождаться. Видно, кому-то это нужно.

– Нужно, – подтвердил я. – Чувствую, что нужно. Не могу объяснить, почему и как, но...

Над входом тоненько прозвенел колокольчик и в лавку грузно вплыла – пыхтя, как паровоз – астматичная соседка Бальтесов с кошелкой через плечо. Господин Ли повернулся к ней, а я вышел из магазина.

\* \* \*

Я сидел за письменным столом, но на лежащем передо мной клочке бумаги до сих пор не появилось ни строчки. Пьеса окончена и отрепетирована, в ней поздно что-то дописывать или менять. Завтра Спектакль. Черный сад за окном набухал росой.

«А ведь я мог бы спуститься туда, – подумал я, – и попасть в то пространство-время, когда Часовщик был молодым, а Кукольника еще не убили. Кукольника? – оборвал я себя. – Так ведь я и есть Кукольник. И пока я жив, остается надежда – пусть и совсем маленькая – что на этот раз все закончится иначе, и Мерзость не победит. Ведь не может она побеждать всякий раз? Ведь есть в людях и что-то хорошее – есть, конечно, есть – я сам видел. Я буду его искать, опять и опять, до тех пор, пока мою маленькую правду не утопят в бочке красивой лжи. Невозможно убить всех кукольников, как невозможно разбить все на свете зеркала».

Я встал и, сойдя в сад, угодил под жесткие струи дождя. Мой сад или не мой? Мне чудились раскидистые силуэты персика и двух яблонь, растущих на склоне – но в темноте не удавалось разобрать, они это или другие деревья.

Мне в грудь уперся луч фонарика и знакомый голос произнес:  
– Седрик Янсон, стой!

– Ребята, вы что? – пробормотал я, пятясь в темную глубину кустов.

Они приблизились – три черные фигуры на темном фоне, и самая высокая протянула мне раскрытую книгу.

– Седрик, прости, уже поздно, но я не мог не показать тебе, – сказал Мориц и осветил на страницу фонариком. – Это портрет Кукольника.

– Догадался все-таки? Мориц, убери книжку, смотри, вся размокла.

– Так ты знал?

– Нет, ребята, честное слово. Сам только что понял. Мориц, нет, клянусь, – ответил я и признался себе, что только что произнес свою первую в жизни ложь. Конечно, знал. Такое нельзя не знать. Просто заставил себя забыть до поры до времени, а вот сейчас – вспомнил. – Идите, – я махнул им рукой, и вдруг заметил, что из ладоней у меня выходят белые полупрозрачные нити и тянутся к головам моих друзей, – уже ночь. Вам надо выспаться перед Спектаклем.

Они стояли передо мной, понурившись. Испуганные дети. Покорные моей воле марионетки. Ничего, ребята, мы им всем покажем, мы их заставим посмотреть на собственную мерзость со стороны. Уж это-то их точно проймет, правда? А там – как Бог даст.

Друзья, занавес! Аплодируйте Кукольнику!



## Людмила ЖУКОВСКАЯ, 14 лет Обнинск

*Стихи пишет с 11 лет. Публиковалась в журнале «Костер» (Санкт-Петербург, 2011), «Кукумбер» (Москва, 2011), в книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Смерть мертвым душам! Повесть с 10 фанфиками в придачу», признавалась победителем в конкурсе детского творчества в рамках года России в Германии и Германии в России (организаторы: Wuppertaler Elternverein 3x3 e.V и редакция альманаха «Семейка», 2012 год)/Junge Dichterin. Gewinnerin des Kunstwettbewerbes für Kinder in Rahmen des Russland-Jahres in Deutschland und Deutschland-Jahres in Russland (Veranstalter: Wuppertaler Elternverein 3x3 eV und die Redaktion die Anthologie «Semejka», 2012), в конкурсе на лучший перевод стихотворения с английского языка (стихотворение Роберта Фроста «A Winter Ede», 2013). Одна из победителей конкурса фанфиков, организованного издательством «Розовый жираф» и писателями Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским (2013).*

### Спит лисёнок

В этот лес тыходишь тихо,  
Пахнет хвоей и смолой.  
На стволе застывшим бликом  
Первый листик золотой.

Хороводом пляшут травы  
В первой утренней росе,  
Тайно шепчутся дубравы  
В серебристой полосе.

Детской сказкой оживлённый,  
В сонной предрассветной мгле  
В тени серебро-зелёной  
Спит лисёнок на земле.

Птичьи трели. Пахнет летом.  
Лес укутан в тишину.  
Небо пляшет ярким светом,  
Пламя вскинув в вышину.

## Спор овощей

Однажды поспорили лук и капуста –  
Что людям для жизни нужней?  
Вот лук говорит: «Без меня всё невкусно».  
Капуста твердит: «Я ценней».  
А лук говорит: «Витаминов немало  
Я людям могу подарить».  
Капуста в ответ: «Только горечь сначала  
Ты должен свою подавить».  
«Вхожу я, – капуста сказала хвастливо, –  
В борщи, пироги, винегрет!»  
«Подумаешь, – лук отвечает чванливо, –  
Как-будто бы там меня нет!  
Вхожу я в салаты, вхожу в винегреты,  
В супах мой отыщется след,  
В биточки, в тефтели, в бифштексы, котлеты,  
Во всё, кроме сладких конфет».  
Так спорили бурно они до рассвета,  
А утром хозяйка пришла,  
Для вкусных салатов, супов, винегретов  
Капусту и лук унесла.

## Путь жизни

Обгорелые развалины  
На окраине земли,  
Старой памятью завалены,  
Мхом зелёным поросли.

Жёстким ветром искалечены  
И осыпаны листвою,  
Тёплым солнцем не замечены,  
Мы по ним идём домой.  
Мимо миражей заманчивых,  
Мимо белых ледников,  
Мимо радостей обманчивых  
По обрывкам дневников.  
В тёмных тучах отражаемся,  
Двигаясь на край зимы,  
Но, похоже, не останемся  
Там, куда стремились мы.

\* \* \*

Поднимите глаза. Посмотрите на небо,  
Посмотрите на облачно-синий шатёр.  
И простите друзей, даже тех, кто вас предал,  
Опуститесь на лиственнно-жёлтый ковёр.  
В этой светлой ночи, в этом сумрачном вихре,  
В этой плачущей молча осенней тиши,  
Вам покажется вдруг, что все звуки затихли  
И природа касается вашей души.  
Посмотрите, как медленно падает ветер,  
Улыбнитесь осколкам холодных путей,  
Вы увидите мир в светло-сумрачном свете,  
Вы увидите светлых и добрых людей.  
Поднимите глаза. Посмотрите на небо.  
Вы увидите, как там плывут облака.  
Насладитесь осенним ноябрьским снегом,  
Вы рассмотрите всё. Только ночь коротка.

## Я – тень

Я – тень. Я – миф. Я – лунный блик,  
Тьмы полуночной продолжение.  
Во мгле я выхожу из книг,  
Рисую в стеклах отражения.  
Я – белый пепел на полу,  
Огонь, погасший от усталости.  
Я – тьма, что прячется в углу,  
Не вижу свет, не знаю слабости.  
Я – пенный, яростный прибой,  
Я – лодка, волнами разбитая,  
Я – луч последний золотой,  
Я – мысль, пулею убитая.  
Я – старой памяти мираж,  
Давно забытое создание,  
Сложив сомнения в витраж,  
Я проникаю в подсознание.  
Я – боль. Я – звук. Я – шёпот строк,  
Осенним ветром разрываемых.  
Я – из терновника венки,  
Я – звон талантов зарываемых.  
Но я – ничто, я – просто тень.  
Я миг последний, от которого  
Ты убегаешь каждый день,  
В предчувствии заката скорого.

\* \* \*

Старинных зданий серые громады  
Скрывает лес.  
Среди зелёной сумрачной прохлады  
Твой страх исчез.  
Своих миров прозрачные границы  
Ты преступил.  
Теряются в воспоминаньях лица  
И сны могил.  
Среди камней, воды и жёлтых листьев  
Лежит твой путь.  
Тебе не оступиться, не разбиться  
И не свернуть.  
Ты вышел к замку, снова ждешь рассвета,  
Как палача.  
Но как во сне, ты точно знаешь: где-то  
Горит свеча.



*Замок над Рейном. Фото М.Белоцерковской*

Елена МОРОЗОВА  
Донецк

## ПОБЕДА МИСТЕРА ДОСА<sup>1</sup>

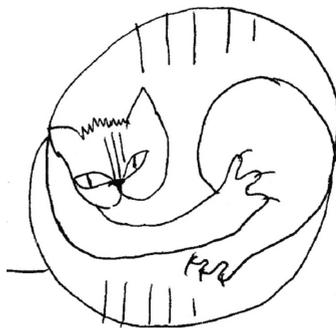


Сижу я как-то с Тоби-ком на порожке. Тобик – это псинка моя. Дворняга породистая. Хвост петушиный, уши беличьи.

Поругиваю:

– Ты снова соседского кота обижал? Мышь отобрал. Клок выдрал. Соседка искричалась вся.

Кота этого рыжего звали Мистер Дос. Сын у соседки – компьютерщик. Он и назвал. Кот был кругл, как буква «О» в слове «ДОС». Мышей при своей диете не ел. Складировал. Не лезли, видно, мыши в него после сливок.



– Дося, Дося, – слышу, как соседка зовёт питомца.

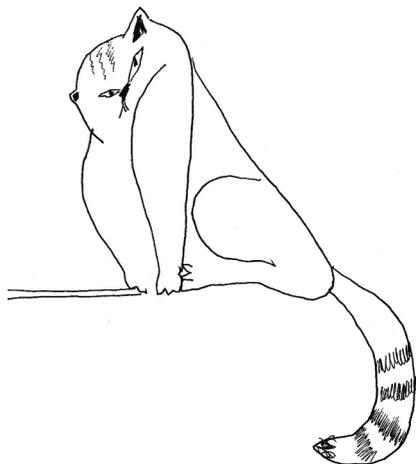
А чего его звать? Он либо у порога лежит, либо на диване. Мыши, завидев его, сами от инфаркта мёрли. Он их только лапой в кучу сметал.

Видела, как однажды всем семейством на выставку понесли они Мистера Доса. И назад

<sup>1</sup> Рисунки Евгения Мокина.

так шли: впереди соседка с бархатной подушечкой, на которой медаль золотая, сзади сын с Досей, как с подушкой. Стал кот на выставке центром внимания.

Но случилось в жизни Доси то, что случается рано или поздно со всеми котами. Случился с ним март. А с мартом – Констанция, кошечка через двор справа. У Констанции хвостик мармеладкой, глазки – оливками, шерстка – белоснежная.

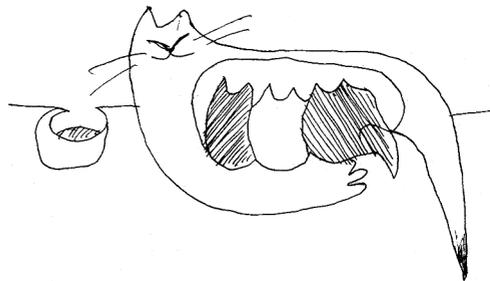


Короче, если бы вы увидели ту Констанцию, то вошли бы в положение Доси. За оливки мистер Дос сражался, не жалея веса. Исхудал – шкура за неделю до земли провисла. Потерял глаз в бою, часть шерсти, но по праву и чести занял своё место у лап Констанции.

Но однажды март, как и всё на этом свете, взял да и закончился. Дося снова улёгся у деревянного порожка.

Констанции, кстати, тоже теперь было не до него. Два рыжих и один белый клубочек притулились к раздобревшей маме.

Ахала-ахала соседка, охала-охала, ходила кругами вокруг того, что осталось от Доси, а потом стала за забор внимательнее поглядывать. Родня, как-никак.



## Елена ХАНН Хайнсберг

*Елена Ханн (Ханен) по профессии – биолог, по призванию – писатель. Родом из Казани. Выпускница биофака Казанского университета. Перестроечные катаклизмы заставили уехать на работу в Гиссенский университет. Сейчас живет и работает в Хайнсберге (Северная Вестфалия) и пишет на досуге истории. Автор нескольких десятков рассказов, как реалистических, так и написанных в жанре «магического реализма», часть из которых вошли в два сборника, а также были опубликованы в газете «Звезда Поволжья» и журнале «Картблани».*

### ТОТ, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ, КАК НАДО

**Ж**еребёнок галопом мчался по пыльной дороге, едва касаясь копытцами земли.

– Папа, папа, смотри, как красиво он бежит! – воскликнул маленький Ёжик. – Я тоже так хочу!

– И я! – пропищала сестра маленького Ёжика. – И я хочу так красиво бегать!

Ежик-папа с восхищением посмотрел на своих детей.

– Молодой человек! – окликнул Жеребёнка Ёжик. – Можно вас на минутку?

Жеребёнок резко остановился и с удивлением уставился на ежиное семейство.

– Послушайте-ка, молодой человек! – вкрадчиво заговорил Ёжик. – Вы так замечательно бегаєте... А не смогли бы вы научить моих детей? Я буду платить три яблока за урок!

– Не знаю... – ответил Жеребёнок, – Я ещё никогда никого не учил.

– Значит мои дети будут вашими первыми учениками! – воскликнул Ёжик.

– Ну ладно! – согласился жеребёнок. – Чего там учить? Это же так просто! Вот, смотрите и повторяйте.

И он начал бегать взад и вперёд. Ежата подпрыгивали на своих коротких ножках, пытаясь повторить движения Жеребёнка, но у них ничего не получалось.

– Э, так дело не пойдёт! – строго сказал Ёжик-папа Жеребёнку. – Вы должны подробно разъяснить моим детям, с какой ноги начинать и как должны двигаться в это время другие ноги. А ещё лучше, нарисуйте-ка нам траекторию движения ног...

Жеребёнок погрустнел. Он попытался объяснить, какую ногу надо поднимать, а какую опускать, когда бежишь, но вскоре совсем запутался. Оказалось, он и сам этого не знал.

Старый хромой павиан под деревом, наблюдавший урок, грустно улыбнулся.

– Я разучился бегать! – объявил Жеребёнок маме, когда вернулся вечером в свой табун. Всю дорогу он не проскакал, как обычно, галопом, а протащился, еле-еле передвигая ноги.

– Быть такого не может! – удивилась мама. – Как можно этому разучиться?

– Ёжик попросил меня научить скакать галопом его детей, и я ... – всхлипнул Жеребёнок.

– Сын мой, никогда не связывайся с занудами! Беги скорее от них прочь! – с пафосом сказал папа Жеребёнка.

– А ну-ка, догони меня! – воскликнула мама и стрелой понеслась прочь.

– Беги, тебе сказали! – прикрикнул на него папа.

Жеребёнок неуклюже побежал. Ноги не слушались, он спотыкался, но продолжал движение, всё быстрее и быстрее. Весь табун двинулся ему вслед, окружив со всех сторон. Ритмичный стук копыт взбудрил Жеребёнка.

Он вдруг почувствовал, что несётся галопом, едва касаясь копытцами твёрдой земли...

– Не задумывайся о том, как это происходит, просто делай то, что у тебя хорошо получается! – перекрикивая ветер, подбадривал Жеребёнка отец.

– Несерьёзный какой молодой человек, – брюзгливо жаловался Ёжик-папа старому хромому Павиану. – Ничего толком объяснить не умеет. Бедные дети – обрадовались было, что их красиво бегать научат...

– Галопом? – лукаво улыбаясь, спросил Павиан.

– Да-да, галопом! – кивнул Ёжик. – А он и сам не знает, как надо. Запутался с ногами...

– Тогда возьмите того, который знает, как надо, – хитро прищурившись, сказал Павиан.

– Не понял! – Ёжик пристально посмотрел на Павиана. – Тебя что-ли? Ты же хромой! Не то что галопом бегать, ты и ходить-то не можешь!

– Тот, кто умеет бегать галопом, навряд ли может научить этому других... И наоборот, – пожав плечами, ответил старый Павиан. – Ведь у ежей галоп выглядит по-другому...

Ёжик недоверчиво смотрел на Павиана.

– У ежей галоп выглядит по-другому, – повторил Павиан. – а точнее сказать – выглядит просто смешно. Но научить я их могу... Вам это нужно? У детей будут комплексы. Научите их лучше яблоки собирать!

И старый Павиан, опираясь на палку, побрёл прочь.

## ВЫБРОСИТЬ ВСЁ...

**В**ыбросить всё к чертям собачьим. Не дом, а помойка. Все только и делают, что притаскивают какие-то вещи, а потом бросают где попало. Ничего найти нельзя.

Всего-то три человека живут, из них только один ребёнок, а посмотришь вокруг – словно сто штук детей тут обитает, везде игрушки валяются, книжки с картинками, воздушные шары-

ки... Скоро повернуться негде будет. Весь день только и занимаюсь, что порядок навожу. Хватит с меня.

Выбросить. Хотя бы половину – зачем ребёнку такая куча игрушек. Тем более она не совсем уж и ребёнок. Оставить только самые любимые, на память. Штук пять.

Час кружения по дому – и вот на ковре в гостиной курган из мягких игрушек. Дома никого нет – хорошо, никто не будет ныть – жалко, давай оставим... Принесла три бельевые корзины – одна маленькая – для тех, которые оставить, и две огромных – этих отдать или просто выбросить.

Вот пегий пёс по имени Генрих. Свёкр подарил. Он любит собак, почти все игрушки, которые он моей дочке подарил – собаки. Ритуал дарения всегда один и тот же: он прячет игрушку за спиной, сутулится и, странно скрючившись, бочком подходит к внучке. И замирает, наслаждаясь моментом. Лысина розовеет, глаза блестят от радости – в предвкушении сюрприза, будто подарок сейчас получит он сам... И наконец протягивает игрушку.

– Это Генрих! – говорит он моей дочке. – Я его встретил по дороге к тебе. Возьмёшь его к себе жить?

Мне вдруг стало жалко выкидывать бедного Генриха на улицу. Если бы не он, я бы никогда не узнала, что этот насупленный ворчливый старик умеет по-детски улыбаться и корчить смешные рожи... И Генрих отправляется в маленькую корзину.

А вот рыжая лиса Труди. Я сама её купила дочке на день рождения – пять лет – и мы взяли Труди в отпуск на Tenerif. За две недели лиса от постоянного таскания по пляжам превратилась из рыжей в черно-бурую. Ехали в аэропорт, дочка забыла игрушку в такси. Хватились поздно, когда такси уже уехало.

Всю дорогу в самолёте ребёнок молча страдал. Муж сказал – подумаешь, купим тебе такую же, когда домой вернёмся. Глупость сказал. Такую же купить невозможно. И мы пообещали позвонить в бюро находок – может быть, таксист нашёл игрушку, и тогда Труди пришлют по почте. Муж честно пытался

дозвониться в бюро находок на Тенерифе, а когда дочка в трёхсотый, наверное, раз спросила, нашлась ли Трудя, он купил такую же лису в магазине игрушек. Она была новая, чистая, и, чтобы дочка не заметила подмены, долго тёр лису мордой об асфальт, посыпал землёй и топтал. Велика была радость ребёнка, когда муж небрежно сказал – там какая-то посылка из Тенерифы сегодня пришла...

Трудя отправляется в маленькую корзинку. Пускай живёт в нашем доме.

Плюшевая лошадь. Одна из маленького табуна себе подобных. У неё близко посаженные глаза и широчайшая улыбка. На редкость идиотская. Как у того, кто её подарил. Так же, как собаки похожи на своих хозяев, так и игрушки напоминают чем-то тех, кто их подарил... Петер, школьный друг мужа, размазня и неудачник. Однажды мы с мужем заехали нему на минутку домой.

– Великий предприниматель в подвале, – сказала его жена, нервно засмеявшись. – Он у нас опять новое дело начал! Хотите на «товар» посмотреть?

В подвальной комнате, среди громоздившихся до потолка коробок, стоял Петер. Огромный, как ставший на задние лапы медведь, он вскрывал картонки и сортировал «товар». Это были плюшевые игрушки – разнокалиберные и разноцветные лошади, все как одна с близко посаженными глазами и дурацкими улыбками.

– Он собирает вот это, – прошептала жена мне на ухо, – продавать в своём интернет-магазине. Хотела бы я посмотреть на тех дураков, которые такую гадость купят.

– Почему гадость? – Петер услышал шепот жены. – Посмотри, какие они смешные!

Она молча усмехнулась и покачала головой.

Когда мы уже отъезжали от дома Петера, он выскочил нам навстречу с целой охапкой плюшевых лошадей.

– Возьмите ребёнка! Скорее, чтоб жена не увидела: не любит, когда я товар раздариваю!

– Зачем так много, Петер! – сказала я, но он высыпал игрушки на заднее сиденье машины и пробормотал: – Берите, берите, я ведь их всё равно не продам, а ребёнок порадуется...

Через неделю Петера нашли мёртвым в подвальной комнате, среди улыбающихся плюшевых лошадей. Он умер от остановки сердца – так писала местная газета. Но в городе ходили слухи, что «великий предприниматель» повесился, осознав вдруг невозможность решения своих финансовых проблем.

Улыбающаяся лошадь летит в маленькую корзинку. Не могу её выбросить – она напоминает мне бедолагу Петера...

Плюшевый мишка, коричневый, с блестящими глазками. Скучный, как жизнь тётушки Амалии – старой девы, замкнутой, нелюдимой. Умерла в прошлом году. Уникальная жизнь, неправдоподобно бедная событиями. Как только она смогла так прожить – без друзей, без семьи, даже без зверюшки в доме? Наверное, эта игрушка – первая и последняя, которую тётка Амалия когда-нибудь покупала. Её подарок я не могу выбросить...

Ушастый Микки-Маус. Его прислала моя лучшая подруга Инна, вместе учились в университете, потом в аспирантуре. Инна уже много лет, как навсегда перебралась в Америку. О, нам есть о чём вспомнить... Замечательное у нас было время. Но вот пьянящий ветер молодости стих, сменившись штилем уважаемой семейной жизни. Микки-Маус оказался прощальным подарком. Грустно.

Нет, так дело не пойдёт. За какую игрушку не возьмись – сразу оживает чей-то призрак, настойчиво напоминает о себе, и забытый кусочек жизни всплывает из глубин памяти.

А стоит ли цепляться за прошедшее? Сидеть перед грудой старья и грустить? Надо двигаться вперёд, не оглядываясь...

Я принесла пластиковые мешки для мусора и стала поспешно закидывать игрушки – все подряд, даже те, что были отложены в маленькую корзинку. Через пару минут уже ни одного

плюшевого зверя не осталось в доме, лишь плотно утрамбованные и крепко перевязанные мешки стояли на ковре. С глаз долой!

Всё тащу в подвал, запихиваю в шкаф и закрываю дверцы. Пусть полежат, а когда-нибудь мы вместе с дочкой развяжем один из мешков, сядем у камина и я расскажу ей интересные истории про добрых людей, даривших ей плюшевых зверюшек...



Владимир АВЦЕН  
Вунперталь

## МАЛЬЦЫ И ДЕДЫ

В один из моих прилётов в Донецк отправились с приятелем и его пятилетним внуком за город.

Полчаса езды – и позади июньский, насквозь пробензиновый город. Выходим из машины в цветущее, колеблемое ветерком разнотравье. На секунду замираем.

Степь...

Ромашка, тысячелистник, чабрец, полынь – такие знакомые, такие волнующие запахи детства!

В возрасте приятелева внука с утра до вечера шлялись мы, безнадзорная (родителям было не до нас) послевоенная капошня, по заросшей кустарником и травами балке. От дома до неё был час ходьбы. Запасшись куском хлеба, полулитром воды, прихватив стеклянную банку и блак (катышек липкой смолы на нитке), отправлялись мы по летней жаре привычным маршрутом. По пути подбирали палки (их всегда много валялось вдоль дорог), чтобы, придя на место, потыкать ими в сусличьи норы в надежде выгнать оттуда их обитателей. Затея эта, ввиду полной её обречённости, быстро наскучивала, чего нельзя сказать о другой – ловле пауков. Делается это так: опускаешь клейкий, вонючий блак на нитке в норку тарантула и методично вверх-вниз гоняешь там эту снасть – в какой-то момент у ни в чём не повинного хозяина жилища сдают нервы и он бросается на незваного пришельца, влипая в смолу всеми восемью... Добытых жутковатых членистоногих собирали в банки с тряпицей вместо крышки, чтобы дома вечером отдать их ребятам-старшеклассникам: ядовитых тварей у них якобы покупали аптеки... Тарантулы во время их извлечения из нор нередко отлеплялись от смолы, падали на землю и удирали, но случалось, что и срывались прямо на нас... Укуси они кого –

мало б не показалось! Но Бог миловал. Как миловал и много раз потом. Когда, например, в одно из таких шатаний по балке навстречу нашей стайке вылезло из зарослей терновника оборванное, грязное, щетинистое чмо, но никого не тронуло, а лишь простуженно потребовало воды и еды, что, разумеется, и получило быстро и сполна. Или когда, набредя за кукурузным полем на взлётную полосу учебного аэродрома, решили мы, дюжина недоумков, немедля закалять свою смелость и придумали выскакивать под взмывающие в небо кукурузники. В азарте перебежали мы всё ближе и ближе к началу полосы, и вот уже – у-у-ух! – волосы дыбом от самолетного винта на наших отважных головах! К счастью, Бог (а кто же ещё?) в шаге от беды наслал на нас разъярённых летунов, переживших, как я теперь понимаю, немалый шок от нашей забавы. При виде свирепой погони мы прыснули со взлётки в заросли кукурузы, что спасло наши глупые задницы от неизбежной, но справедливой и даже где-то полезной порки.

...Воспоминания эти, едва я вдохнул запах детства, он же – родины, пронеслись вдруг перед внутренним взором, и защемило в груди, и запершило в горле, и...

Из сентиментального забытья вывел и, спасибо, спас от стыдных слёз внук приятеля:

– Фу! – поморщился малец. – Аптекой воняет!



Дмитрий СИРОТИН  
Воркута

## Любопытство

Есть ли ушки у лягушки?  
Умный папа, дай ответ!  
Почесал отец макушку:  
«Я тебе не Архимед!

Не Спиноза и не Пушкин,  
чтобы всё на свете знать...  
Есть ли ушки у лягушки –  
ты спроси об этом мать!»

Есть ли ушки у лягушки?  
Ну-ка, мама, отвечай!  
«Что за глупости, болтушка?  
Марш за стол: остынет чай!»

Но не лезет чай с ватрушкой:  
жутко мучает вопрос –  
есть ли ушки у лягушки?  
Дед, ответь-ка мне всерьез!

Дед смущенно заявляет:  
«Спорный, внученька, момент...  
Может быть, бабуля знает?  
Как-никак, она – доцент!»

Есть ли ушки у лягушки?  
Ну, бабуля, не томи!  
«Ась?» – ответила старушка...  
Как с такими жить людьми?!

.....  
Ночь. Измятая подушка.  
Нет, похоже, не уснуть...  
Есть ли ушки у лягушки?!  
Ну ответьте кто-нибудь!!!

## Про ворону

Я стих написать  
про ворону хотела.  
Но, лишь вдохновенно  
взмахнула рукой, –  
пугливая птица,  
крича, улетела...  
Поэтому стих мой –  
короткий такой!

## Полярная сова

Живет полярная сова  
на тумбочке у нас.  
Большая в перьях голова  
и пара круглых глаз.

Молчит...  
А были времена –  
грозою мышей  
слыла она!

Кружила тундрою ночной  
и ухала сердито!  
Теперь же – рядышком со мной,  
опилками набита.

Ее Марусею зову...  
И очень жалко мне сову.

## Папа-весельчак

Мне папа вечером сказал:  
«Сынуля, ты меня ДОСТАЛ...»

Я рассмеялся от души:  
у папы шутки хороши!

Ведь он – не ручка, не тетрадь:  
из ранца папу не ДОСТАТЬ!

А чтоб до плеч его ДОСТАТЬ –  
таким же длинным надо стать!

## Интересная жалоба

«Хоть бессмертен  
вообще я –  
жизни тоже нет,  
хоть плачь!»

.....

Два соседа у Кощея:  
барабанщик и трубач.

## Случай в зоопарке, или Всё познаётся в сравнении

На Ехидну смотрит Слон,  
удивлён и удручён:  
вся в колючках,  
вот беда!  
А мала-то,  
а худа...

На Слона глядит Ехидна  
и хихикает ехидно:  
знатный,  
толстый...  
Генерал!  
Где колючки потерял?

## Сытный обед

Витя ел молочный суп.  
Проглотил молочный зуб.

Ах, какая благодать:  
не заставят вырывать!

## Растеряха

От дома ключ  
нашёл с трудом...  
Теперь ещё  
найти бы дом!

## Жуткая история

В детстве,  
плохо засыпая,  
как боялся  
я бабая!

Но бабай  
не появлялся:  
видно, сам  
себя боялся...

## Старинная испанская баллада

Серенаду под балконом  
нежный рыцарь напевал,  
ведь его сразила донна,  
донна Тонна наповал!

«О богиня донна Тонна!  
Как же, как же я влюблён...»  
Та вздохнула восхищённо –  
и обрушился балкон!

В синяках бедняга рыцарь  
ускакал навеки вдаль...  
Донна Тонна,  
Вам садиться  
на диету не пора ль?



# Семейный альбом



Вячеслав ВЕРХОВСКИЙ  
Донецк

## ИЗ РАССКАЗОВ ПРО АКИМА

\*\*\*

Маленький Аким Верховский:  
– Моя любимая сказка – «Лягушка-происшественница».

\*\*\*

Баха уже знает, но в фамилии еще путается:  
– Иоганн Себастьянович... Трах.

\*\*\*

Чтобы Донецк замело, хватило одной ночи. А утром, глядя  
в окошко, Аким:  
– Слава, ты погляди, какие заросли сугробов!

\*\*\*

Загадка. Придумал Аким. А не отгадал никто.  
– После театрального спектакля мама и гардеробщица ве-  
дут мальчика в больницу. Почему?  
Ответ: палец застрял в номерке.

\* \* \*

– Иди ко мне! – кричит бабушка Акиму.

Ноль внимания.

– Считаю до трех! Раз, два... – ноль внимания. – Десять, девять, восемь, семь...

\* \* \*

На симфоническом концерте перед Акимом уселась крупная женщина.

– Вот, всю музыку закрыла!..

\* \* \*

Аким – маленькой соседке:

– Да ты по сравнению со мной просто девочка!

\* \* \*

О родителях:

– Мама и папа познакомились в консерватории: мама училась на скрипке, а папа – на дирижерской палочке.

\* \* \*

Делает яичницу.

– Ты посолил?

– Я еще не попробовал...

\* \* \*

Акиму три года:

– Бабушка, а где Бог?

– На небе.

– Ну, царство ему небесное!

\* \* \*

– Ма, пощупай лобик.

– Но есть же термометр!

– А ты у меня лучше термометра: ты же меня не расстроишь?..

\*\*\*

Через полчаса опять:

- Пошупай лобик.
- Что еще?!
- У меня головка не болит?

\*\*\*

Аким в Одессе. На Ришельевской старичок любопытствовал:

- Девочка, как тебя зовут?

Аким:

- Я мальчик!
- Хорошее имя!..

\*\*\*

Аким:

- Тушите телевизор, хочу спать!

Выглядывает снова:

- За тушку телевизора – спасибо!

\*\*\*

Лежит на пляже целый час.

Бабушка:

- А если солнечный удар – ты не боишься?
- Спокойно, бабушка, – лежачего не бьют!

\*\*\*

«Репку» читает с таким интересом, как будто писалась не для него.

\*\*\*

Горазд на комплименты:

- Из всех соседских бабушек наша – самая взрослая!

\* \* \*

Аким:

– Я купил хорошую книжку.

Я:

– Какую?

– Записную.

– Ха-ха!

– Что «ха-ха»?! Заполню – и будет хорошая!

\* \* \*

Акиму на день рождения подарили большую чашку.

Мама:

– Интересно, она из глины или из стекла?

Аким:

– Я не знаю, но можно уронить и посмотреть...

\* \* \*

Из дневника Акима: «Ехали поездом. Из окна проезжали природу»...

\* \* \*

В подвале душно.

Папа – Аким:

– Зачерпни ведро воздуха и подай его в подвал.

И он поверил!

\* \* \*

Аким рассказывает анекдот.

Я:

– Не смешно.

Аким – смущенно:

– Ну тогда я пошутил...

\*\*\*

Идут по улице бабушка и Аким, а навстречу дядечка:

– Вы не подскажете, который час?

И примерный ученик Аким Верховский с укоризной:

– А разве вы не знаете, что подсказывать нельзя?!

\*\*\*

Однажды в детстве Аким подавился вишневой косточкой.

Мама:

– Плюй! Скорее плюй!

Аким:

– В кого?!

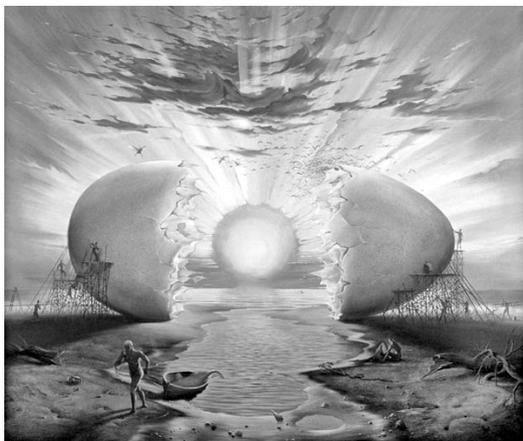
Он не привык плевать вхолостую!

\*\*\*

Аким изучал иврит. Когда он научился читать – справа налево, – он, под впечатлением, стал ходить задом наперед. На этом учеба была своевременно прервана...

\*\*\*

– Никак не могу понять, – удивлялся Аким, – Бог – он злой волшебник или добрый?..



Владимир Куш. «Рассвет в океане»

## Саша СЕМЧУК, 11 лет Вупперталь

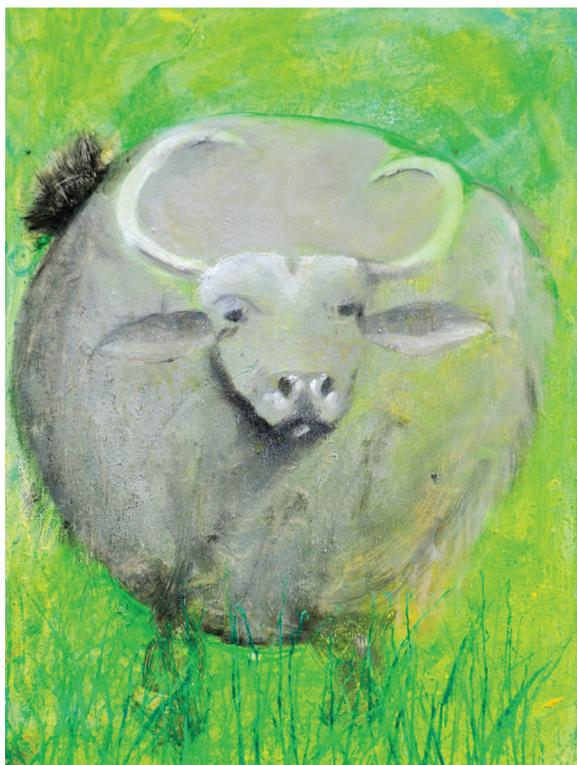
*Его животные, а пишет Саша преимущественно их, смотрят с полотно прямо нам в глаза, словно желая о чём-то спросить или что-то важное поведать. Рисунки эти, смущаясь и немного волнуясь, показал мне однажды Сашин папа, фотохудожник Владимир Семчук.*

*Детская художественная студия при центре немецко-русской культуры «Arplaus» существует семь лет. Саша здесь уже четыре года. О секрете выразительности Сашиных работ спрашиваю у руководителя художественной студии Наума Шнитмана.*

– В студии все дети по-своему интересны и одарённые. Саша – один из них. По характеру он интроверт, всегда внутренне сосредоточен, а когда рисует, то чем-то отвлечь его от работы немислимо. Обычно дети предпочитают акварель и пастель, он же пишет исключительно масляными красками. За основу берёт фотографии (никогда – чужие картины!) чем-то понравившихся ему животных, но это ни в коем случае не слепое копирование. Саша видит мир в пятнах и бликах, рисуя, идёт от общего к частному, от заднего плана к переднему – отсюда иллюзия трёхмерности в его работах.

ВА

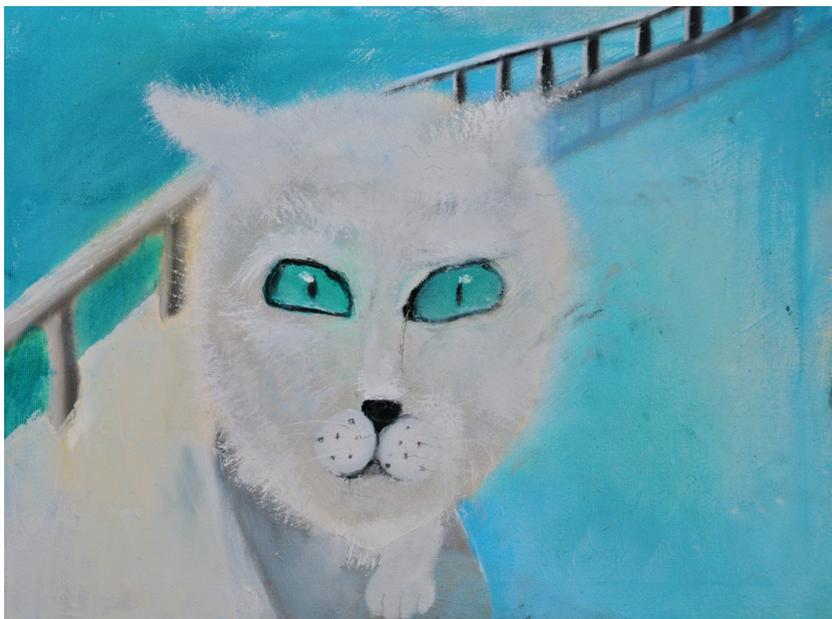




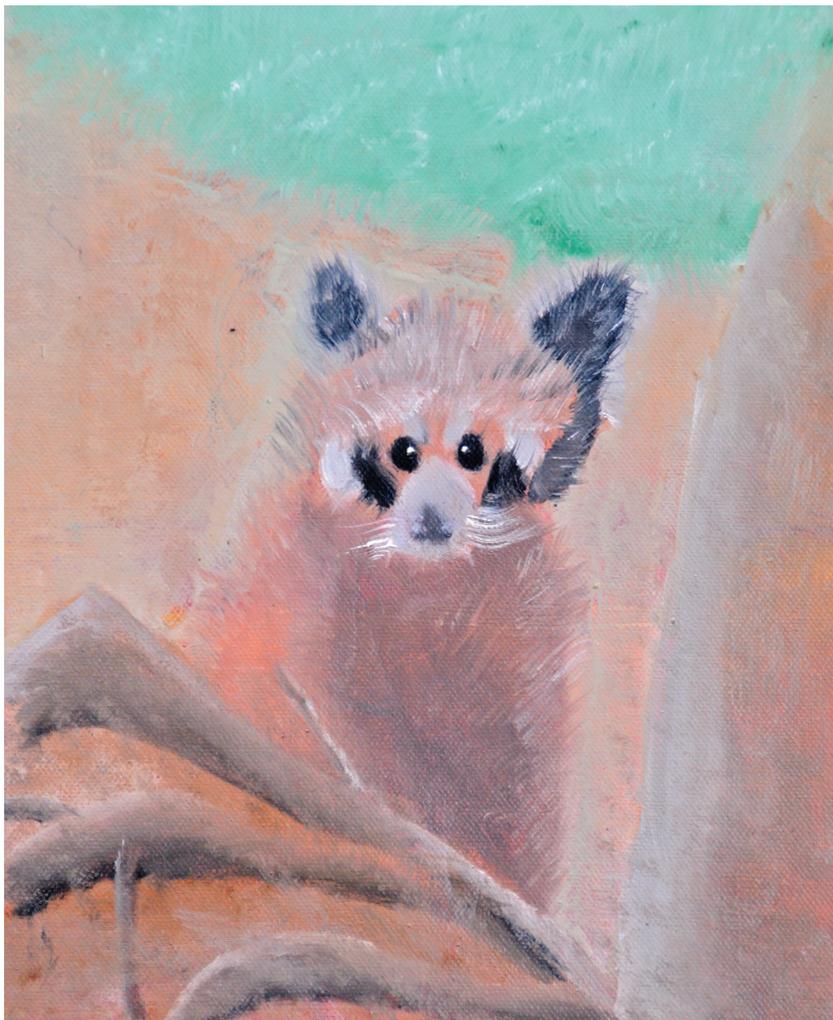


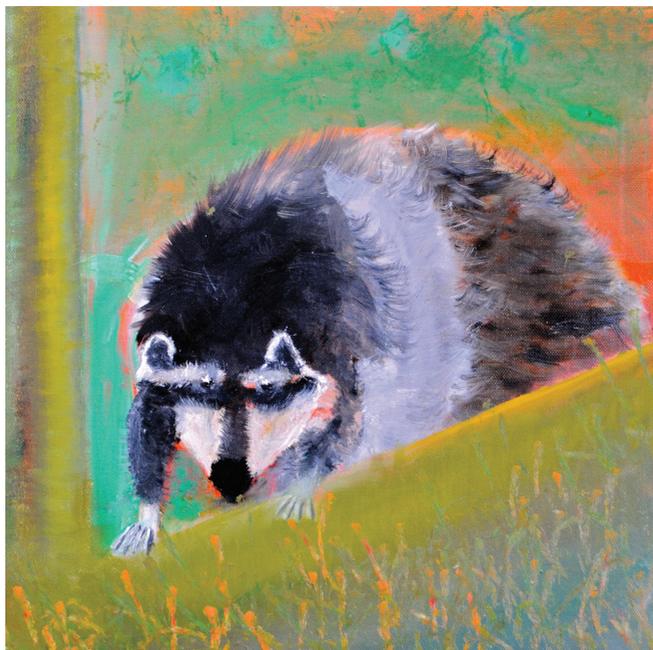


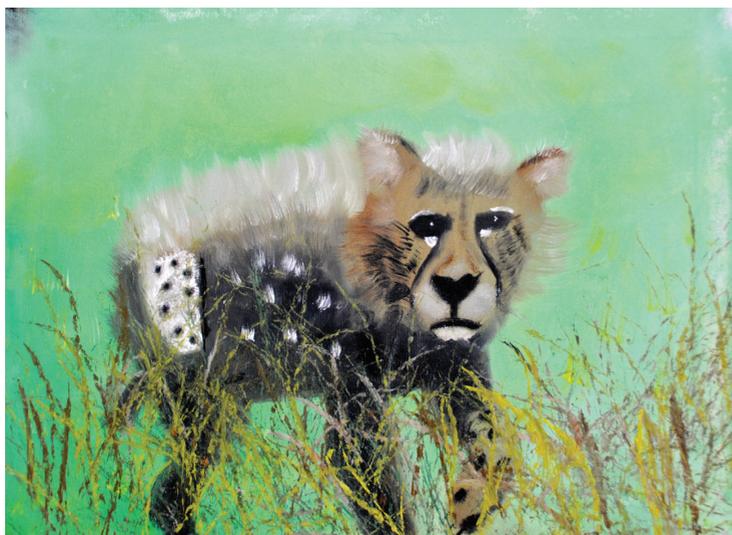
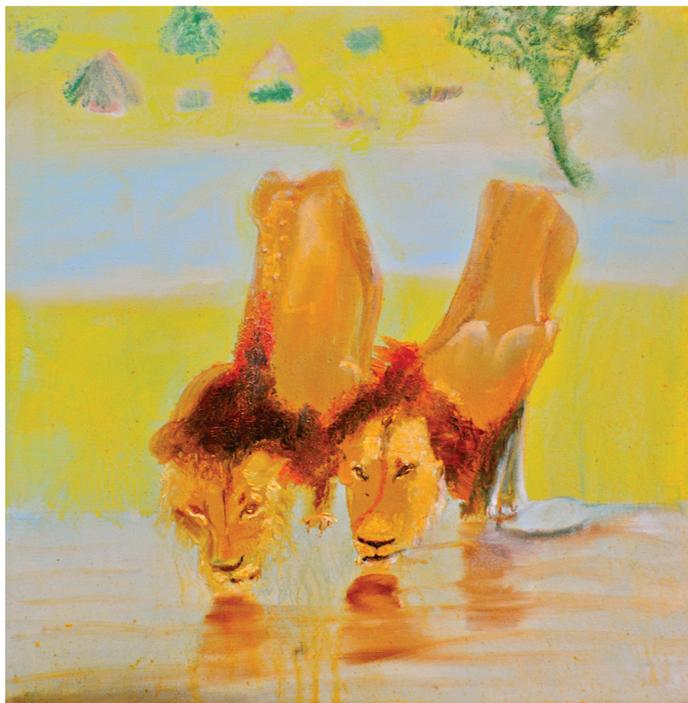




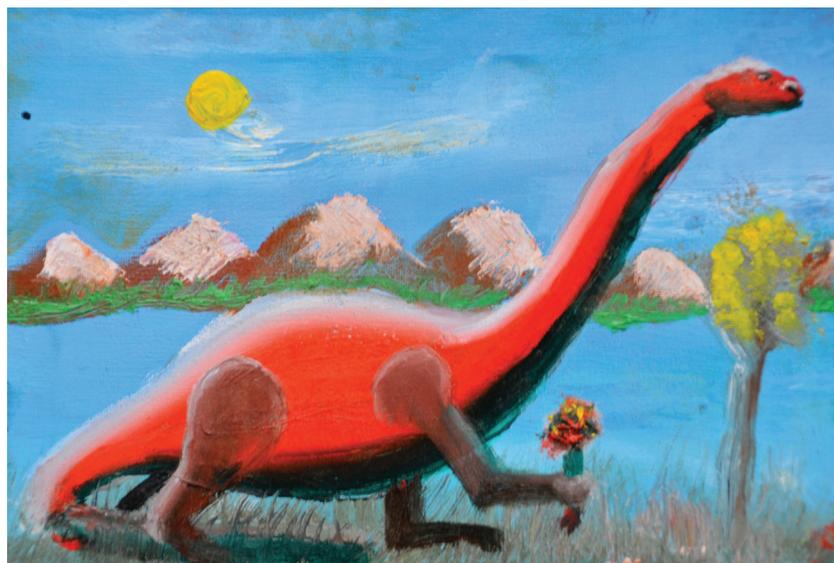
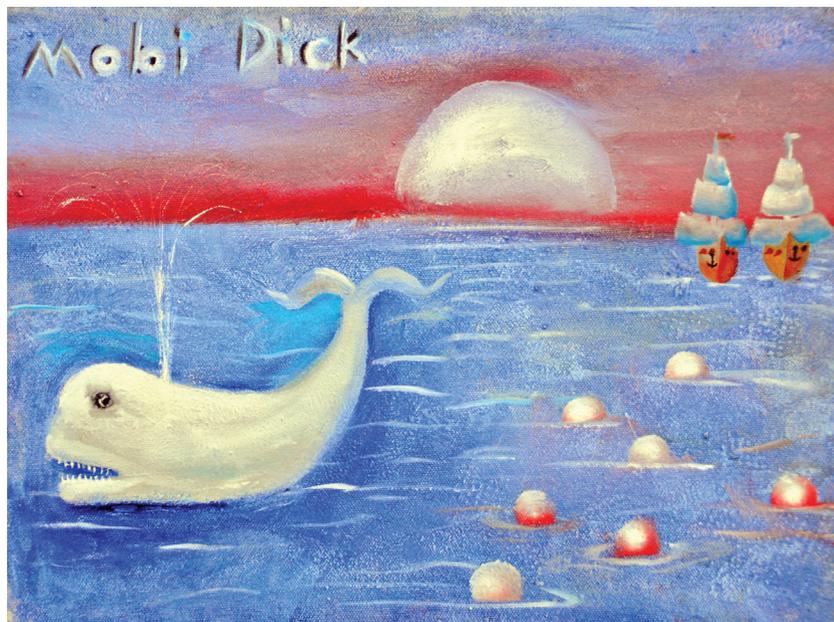


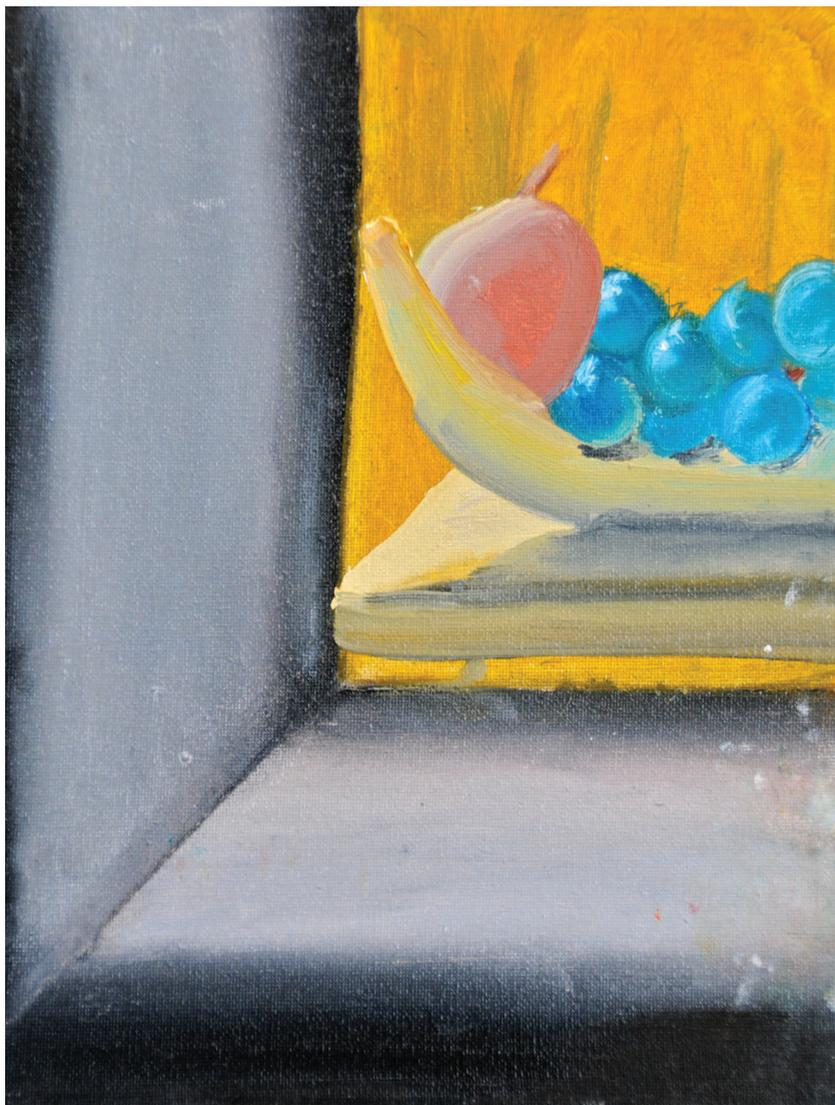












Когда моя девятилетняя дочь через год после приезда в Германию в разговоре со мной споткнулась посреди фразы и спросила: «Ой, а как это по-русски?», я лишний раз убедился, что «вымывание» родного языка из памяти иммигрантских детей – отнюдь не абстрактная проблема. А поскольку чтение – один из главных путей её решения, то подумалось: необходимо литературное издание, которое было бы интересно и мамам, и папам, и их чадам. «Семейка» объединяет под своей обложкой произведения, адресованные как взрослым, так и детям...

Владимир Авицен, составитель альманаха

Альманах «Семейка» родился и живет. Живой, теплый, авторский, изящный, хорошего литературного уровня, редактор журнала «Дикое поле» Александр Кораблёв, поэт Лев Лазаревский.

Твой альманах похож на деревенскую лавочку (последнюю я видела в Тироле), где все полки завалены самыми невообразимыми вещами, где есть все – и грабли и вышивка, – где копаешься, копаешься,

и обязательно находишь что-то неожиданное, редкое и интересное. Дай Бог сил и удачи. Мария Тхоржевская, актриса

«Семейку» получил (спасибо!). По авторскому составу резко лучше первого выпуска. Очень достойный уровень авторов. Много замечательных стихов. Поздравляю. Буду рекомендовать знакомым. Вадим Левин, поэт

«Семейку» прочла, очень и очень... И авторский текст за кадром, голос ведущего, на редкость (для сегодня и особенно для здесь...) вменяемый... Ольга Бешенковская, поэт

Дорогой Владимир, большое Вам спасибо!  
Какая хорошая подборка! Честно, я со страхом жду  
мемориальных публикаций — так много там бывает  
фактических ошибок. Вот Ваша подборка  
и блок в НЛО — совершенно различны по стилистике,  
но так же совершенно безупречны  
по отношению к памяти Алеши.

Ваша ЕД (Екатерина Дробязко),  
вдова поэта Алексея Парщикова

Сегодня завершили  
Много интересного.

Володя,

Лена мне указала  
на эл. адрес

твоей «Семейки», я посмотрел —  
по-моему, издание становится  
с каждым номером  
(из трех мне известных) лучше.

Лев Беринский,  
поэт, переводчик

В альманахе

заметно разнообразие авторских  
тональностей. Трогательно то, что Донецк и  
«неизвестный» город Вупперталь становятся единым  
культурным пространством, которое, надеюсь, расчленишь  
будет невозможно.

Л. А. Мироненко,  
доктор филологических наук

Вов, привет!  
Хороший у тебя альманах.  
Молодец ты!  
И со вкусом иллюстрировано и сверстано.  
Обнимаем. Мы.  
Элла Зельдина, журналист,  
Александр Сницаренко, писатель

Уважаемый Владимир!  
Поздравляю Вас и участников «Семейки» с юбилеем!  
За время, что прошло с момента моего первого знакомства  
с альманахом, он стал более глубоким и ярким.  
Есть одно соображение. Нынешнее название «Семейка», на мой  
взгляд, уже не отвечает такому солидному изданию, как ваш  
альманах. Не пора ли подумать о новом названии?..

Эрнест Обминский, дипломат